

# ВИКТОР КОНЕЦКИЙ

МОРСКАЯ  
СЕРИЯ



НИКТО  
ПУТИ ПРОЙДЕННОГО  
У НАС НЕ ОТБЕРЕТ

За Доброй Надеждой

Виктор Конецкий

**Никто пути пройденного  
у нас не отберет**

«Издательство АСТ»

1987

## **Конечкий В. В.**

Никто пути пройденного у нас не отберет / В. В. Конечкий —  
«Издательство АСТ», 1987 — (За Доброй Надеждой)

«Никто пути пройденного у нас не отберет» – седьмая книга путевой прозы Виктора Конечкого романа-странствия «За доброй надеждой», сложного многопланового произведения. Эта книга завершает цикл рассказов о морских странствиях автора, в которой он подводит итоги, вспоминает и осмысливает пройденный путь.

© Конечкий В. В., 1987

© Издательство АСТ, 1987

## Содержание

Из семейной хроники	6
Под сенью русских сфинксов в Коломне	18
Как я первый раз командовал кораблем	24
1	25
2	33
Мемуары военного советника	39
Отход	50
Давняя драма в проливе Флинт	60
Конец ознакомительного фрагмента.	64

**Виктор Конецкий**  
**Никто пути пройденного у нас не отберет**

\* \* \*

## Из семейной хроники

В незавершенной поэме «Езерский» Пушкин, сетуя на то, что «исторические звуки нам стали чужды», писал:

Вот почему, архивы роя,  
Я разобрал в досужий час  
Всю родословную героя,  
О ком затеял свой рассказ...

Ведь нет ничего на свете неповторимее любой самой обыденной семейной хроники.

Ведь, кажется, нет ничего полезнее и насыщеннее для души пишущего человека, нежели рыть архивы предков.

И вот уже сколько лет лежит под диваном в соседней комнате чемодан с бесценностями, сохраненными матерью иногда и с риском для жизни, а я... боюсь его открыть. Зато, хотя у меня есть на житье деньги и хотя никто никуда не гонит, через месяц поплыву в Арктику.

Мой дед Дмитрий Иванович Конецкий родился в 1840 году.

Умер в 1909-м. Похоронен на Волковом кладбище.

Узнал об этих датах недавно от двоюродной сестры Тамары Сергеевны Васильевой. Она слепа – с блокады. И сказала о деде случайно – считала, я и так все это знаю. А я ни черта не знал, ибо никогда никого из дедов вживе не видел и как-то и позабыл про то, что они где-то и когда-то были. А тут, ясное дело, поразился. 1840 год! Чуть было Пушкина Дмитрий Иванович не застал!

Поехал на кладбище, опять-таки с удивлением поняв, что Волково кладбище от «волка» – бежали там серые и логова рыли.

Деда, конечно, следа не нашел, но наткнулся на замечательную могилу «Смотрителя Волкова Православного кладбища Александра Андреевича Худякова – скончался 7 июня 1879 года на 45-м году».

Эпитафия:

Прохожий! Здесь лежит смотритель.  
Живых он в горе утешал,  
А мертвых в вечную обитель  
Сам каждодневно провожал.  
17 лет он здесь трудился,  
Квартиры мертвым отводил.  
Когда ж он с жизнью распростился  
И бранный труп его остыл,  
Он сам в квартире стал нуждаться!  
Таков, знать, час уже пришел.  
А новый... квартиру здесь ему отвел.

Там, на кладбище, я и решил, что заберу в рейс пару папок с материнским архивом.

Ночью с 21 на 22 июня 1941 года – ровно тридцать восемь лет назад, ибо сегодня 22 июня 1979 года, – мы находились на даче на хуторе близ гоголевской Диканьки. Около четырех часов утра мать разбудила меня и брата, и мы вышли во двор, где справа были клетки со спокойно пока жующими кроликами, слева хлев со спокойно пока жующими коровами; а с запада, из-за реки Ворсклы (в памяти осталась строка хохлацкой песни: «Ворскла – ричка невеличка, тече



здавна, дуже славна, не водою, а вийною, де швед полиг головою...»), из-за кукурузных полей, по чуть светлеющему небу, очень низко, пригибая все торжествующим ревом, шли на Харьков или Киев эскадрильи тяжелых бомбардировщиков; и мы отчетливо видели черные кресты на их крыльях.

– Война, – сказала мать и зарыдала. Она знала, что говорит, потому что Первая мировая застала ее во Франции, и она добиралась на родину через Скандинавию, и уже с тех пор запомнила германские опознавательные знаки на аэропланах.

И вот когда мы потом среди тысяч и тысяч других беженцев на подводах, запряженных быками, тащились на восток, то вокруг невыносимо тягостно мычали недоенные коровы. Они шагали, растопырившись над своими раздувшимися до синевы (как будет множественное от «вымя»?) и мучительно мычали в раскаленные украинские небеса.

И хотя страшно вспоминать это бегство, этот исход полусумасшедших от страха толп, я все-таки вспоминаю и смешное. Так и маячат перед глазами самые упрямые существа на свете – козы и козлы. Думаю, нет ничего более тормозящего, нежели коза, которая привязана за рога веревкой к задку телеги и всеми четырьмя ногами упирается в дорожную грязь или пыль.

У Сергея Орлова есть стихотворение «Станция Валя».

Легким именем девичьим Валя  
Почему-то станцию назвали.  
Желтый домик, огород с капустой,  
Поезд не стоит и двух минут,  
На путях туманно, тихо, пусто...  
Где ты, Валя, проживаешь тут?

Станции Валя нет. Есть полустанок.

На этот полустанок вышел эшелон с детьми, которых сперва умудрились эвакуировать на запад – навстречу немцам, а потом кое-кого успели собрать и отправить на восток – обратно в Ленинград.

Этим эшелонам возвращались домой с украинской дачи и мы.

На соседних путях стоял санитарный эшелон, битком набитый ранеными. Он прорывался в тыл.

От полустанка до лесной опушки было метров пятьсот. Из-за леса вывернулся немецкий истребитель-бомбардировщик. Люди посыпались из вагонов и побежали к лесу.

Точно помню:

Очень долго ждал мать у подножки вагона. Уже все повыскакивали, а ее нет и нет. И я думал, что она вещи собирает, – это в ее характере было: собирать вещи в самой неподходящей обстановке и очень долго. И я оказался близок к истине, но собирала она не вещи в смысле вещичек или чемоданов, а показала, наконец, на площадке вагона с огромным пучком наших пальтишек и пледом. Руки ее едва сходились на этом пучке, который она, естественно, прижимала к груди и животу. А надо-то было спуститься по трем высоким вагонным ступенькам. Как по ним без рук спустишься? Да еще лицом в поле – а она именно так решила вылезать.

Я орал, чтобы она бросала пальто на землю. (Самолет к этому моменту уже заходил на второй вираж.) Но не тот был у матушки характер, чтобы бросать детские пальто и плед на сырую землю или в пыль. Она сползла со ступенек, считая их задом, и спиной, и закинутой головой. Ее далеко запрокинутую голову особенно хорошо помню. И тут я сразу толкнул ее под вагон, хотя отчетливо понимал, что под вагоном убежище плохое, что надо-то как раз наоборот делать – бежать от состава. Однако самолет приближался стремительно со стороны хвоста поезда. И мы с матушкой оказались под вагоном, рядом с солдатом. У солдата была полуавтоматическая винтовка, а вагонные колеса были не со сплошным диском, а со спицами.

И солдат стрелял, просунув винторез между спиц. Куда он палил, я не заметил, потому что увидел брата, который бежал через поляну к опушке леса и был где-то на середине поляны, когда самолет, обстреляв эшелон из пулеметов, сбросил на паровоз две маленькие, вероятно десятикилограммовые, бомбочки. Я видел, как они падали и взорвались левее паровоза, метрах в ста от него, – плохой немец был бомбометатель. Встало два разрыва. Они были метрах в двадцати от бегущего брата. Его приподняло взрывной волной, пронесло довольно далеко – и замедленно, как в замедленном кино, швырнуло на землю.

Я думал, мать этого не видит, так как она была дальше меня под вагоном, но она все увидела. И – без всякого крика – все так же с пукот пальтишек и другой мягкой рухляди в руках выскочила из-под вагона и побежала к брату по высокой траве поляны. Солдат попытался удержать мать, но ее бы и танк не остановил. А я побежал за ней, чувствуя себя совсем голым на пустынной поляне, – все люди попадали на землю.

И только несколько солдат где-то на середине поляны устанавливали на колесо от обыкновенной крестьянской телеги ручной пулемет. Раньше эти солдаты с пулеметом ехали на крыше вагона. Кабы не исторический опыт гражданских войн, вряд ли бы тележное колесо так быстро оказалось приспособленным под своеобразную турель для зенитной стрельбы.

Спринтерские дистанции в те времена я бегал хорошо, во всяком случае – лучше матери. И потому оказался возле брата первым. Глаза у него были открыты, но шок оказался глубоким. Он был ранен осколком бомбы в левую руку между плечом и локтем. Более другого меня поразила чистейшей белизны кусочек кости, который отлично был виден в окружении разорванных мышц. Рана еще вообще не кровоточила. Как потом объяснили опытные люди, осколок был горячим и запек кровеносные сосуды. Но подбежала мать, отбросила наконец в сторону мягкую рухлядь и упала на брата. И здесь я увидел то, что большинство зрителей видит только в кино. Я увидел, как мать прикрывает своим телом ребенка.

Немец зашел на третий вираж и палил по эшелонам и поляне разрывными пулями. Они отличаются от обыкновенных тем, что взрываются круглыми искристыми огоньками, коснувшись даже цветочной головки. И эти вспышки-взрывики разрывных пуль хорошо видны даже при солнечном свете. Ежели нет, то пусть меня бывалые вояки подправят.

Я-то абсолютно уверен в том, что видел эти вспышки-взрывики вокруг нас, но выше самой земли – на уровне цветочных головок ромашек.

И вот мать лежала на брате и елозила руками, как бы махала ими плашмя, чтобы прикрыть неприкрытые места его тела. И тут из раны хлынула кровь.

Я эти мгновения провел, лежа на спине рядом. И хорошо видел голову немецкого летчика, который высунул ее с левого борта кабины, рассматривая результаты своей работы. Опять чисто киношный кадр: спокойная и омерзительная немецкая рожа в летных очках над бортом кабины, рассматривающая искромсанные тела детей и женщин внизу.

Когда самолет промелькнул, мы потащили брата в кусты. До них было метров пятьдесят. Там он окончательно очухался и попросил пить. Воды, конечно, не было. Я рвал ему спелую голубику. В те времена мы называли ее гонобобелем. Рану традиционно перетянули носовыми платками.

Самолет исчез. По слухам, наши солдатики якобы все-таки куда-то ему попали с помощью тележного колеса. Думаю, это возможно, ибо немец демонстрировал такую степень беззаботной наглости, которую судьба в любой игре обычно наказывает.

А дальше произошло нечто вовсе уж несуразное – эшелон дернулся и поехал, оставляя всех раненых, убитых и вопящих на все голоса живых в чистом поле и на опушке леса. Боже, какой вопль разнесся, нарушая станции покой!

Чувство покинутости... Едва ли оно не самое жуткое и безнадежное на войне. И не только на войне.



Вспыхнет в небе дальняя зарница,  
Стукнут рельсы, тронется вагон...  
Я хотел бы здесь остановиться  
Навсегда у сердца твоего...

У тебя по самый пояс косы,  
Отсвет зорь в сияющих глазах...  
Валя, Валя, где-то за откосом  
Голос твой мне слышится в лесах.

Когда я рассказал Орлову эту историю и прочитал стихи наизусть, он, конечно, был доволен. Все поэты радуются, когда их знают наизусть.

На этом полустанке я видел десятилетнюю девочку, у которой были оторваны обе ноги. Она пыталась заползти в канаву под штабель запасных железнодорожных рельсов. А такого количества крови, которое оказалось на полу нашего купе, я уже никогда в жизни не видел (блокадные голодные смерти – бескровные). Какой-то дядька лет сорока, артист ленинградской эстрады, наш сосед, умудрился, вероятно, не проснуться вовремя. Осколок бомбы пробил вагон и вырвал ему кадык. Вся кровяшка, которая вытекла из артиста, успела уже свернуться, когда мы вернулись; все стекла окон, конечно, вылетели.

Первое время в Ленинграде довольно часто попадались интеллигентные ленинградцы, которые уверяли, что наша пропаганда преувеличивает немецкие зверства, ибо немцы – воспитанные люди и выдумали Бетховена.

От фронтовиков я отличаюсь и тем, что хотя много убивали и самого меня, и самых моих родных людей, но я сам никого в отмщение убить не мог и не убил.

А дорого бы дал в свое время за то, чтобы хоть один паршивый немец, стрелявший по мне, был на моем счету.

Отмщение – великая штука. И никуда от этого пока не денешься. Коль отомстишь, то и смертные муки принимать легче.

Был у меня анекдотический случай.

В сорок пятом и сорок шестом годах мы иногда несли охрану пленных немцев на городских овощехранилищах. Там фрицы перебирали картофель. После работы, когда они вылезали из бункеров, нужно было их обшаривать, чтобы не выносили жратву. Делали мы это небрежно. Часто, бывало, видишь: под штанами над кальсонными завязками прячет фриц пару картофеля, ну и махнешь рукой.

Охраняли мы их уже без огнестрельного оружия – только плоские австрийские штыки на поясе в чехле-ножах.

И вот однажды увидел я на полусгнившем мундире здорового пленного какой-то значок. Присмотрелся. И понял, что это значок, который выдавали особо прилежным воякам, долго участвовавшим в боях за Ленинград, то есть за осаду Ленинграда. Сохранил его фриц какими-то сверхнаглыми чудесами и продолжал носить!

Заорал я и «хальт», и «хенде хох», а потом оттянул гнилую ткань мундира, уцепившись за этот значок; вытащил штык и секанул по материи. Пленный перепугался, намерений моих мирных не понял, решил, верно, что мальчишка ему сейчас секир башку сделает, ибо офицеров вокруг видно не было.

А я только знак этот вырубить с мундира хотел.

Короче, дернулся вояка в самый неподходящий момент, мотнулся назад-вперед, и я задел штыком ему кончик носа.

Никогда не предполагал, что из малюсенькой царапины на кончике носа может так бурно хлестать кровь.

Пленный мой опрокинулся на спину, задрывал ногами и заверещал вполне нечеловеческим голосом.

Влепили мне за это дело три наряда вне очереди.

Даю честное слово, что все это произошло случайно, но если бы я попал в Германию в мае сорок пятого года, то, боюсь, пролил бы там много и невинной крови.

Пушкин почитал мщение одной из наипервейших христианских добродетелей. Я злопаметен, но, когда мне отмщение, как показывает опыт, аз не воздам, ибо ленив.

Не любил и не люблю ссор и драк. Суть моего характера в том, чтобы находиться в принципиальном мире со всем и всеми в окружающем мире.

В юности одно время пришлось много махать руками – конечно, красивая женщина с ветренными наклонностями была виновата.

В драках даже попытки использовать не только оружие, но просто что-нибудь тяжелое не предпринимал. И ни разу в жизни не ударил человека ничем, кроме голого кулака, хотя хорошо знаю, что любой твердый предмет укрепляет не так даже руку, как мужской дух...

Занятно, что страх перед дракой и во время нее особенный, с примесью мазохической приятности, завлекательный страх, его тянет ощутить снова и снова, хотя опыт предостерегает о шишках и синяках...

Привычку к оружию нам прививали сознательно, продуманно. Мы, например, носили палаши. Возни с этим атавизмом древних абордажей и плац-парадов много. А прыгать на ходу в трамвай, когда на боку болтается метровая «селедка», дело даже опасное: палаш частенько попадал между ног и бил по правой «косточке» – есть такая выступающая чуть выше ботинка косточка, на курсантском языке «мосёл». После возвращения в училище палаш надо протирать и смазывать.

В драке хочется вытянуть палаш на свет божий. Правда, в нашем училище никто ни разу такому искушению не поддавался. А вот уже после драки бывали смешные случаи. Я как-то наблюдал ближайшего друга, которому порядком досталось в схватке с гражданскими парнями после танцев в клубе «Швейник». Так вот, уже по дороге домой, на улице Писарева, он вдруг вытащил палаш и по всем правилам фехтовального искусства принялся рубить безвинную водосточную трубу. С каким чудесным, хрустальным звоном сыпались из нее сосульки...

Вот вспомнил палаш и даже испытываю к нему нежность. Как приятно было ощущать тугую плавность, с которой клинок выходит из ножен! Жаль, что при демобилизации не зажал офицерский морской кортик. Обошлось бы мероприятие в шестьсот рублей старыми деньгами, а кортик украшал бы сухопутный быт, висая на ковре и позевывая львиными пастями великолепной упряжи.

В фильме о революционном певце Эрнсте Буше показывают, как после войны немцы делали на заводах из солдатских касок дуршлаг и кастрюли. По всем правилам заводской технологии делали. Знамена со свастиками тоже не пропадали втуне. В фильме показывается, как эти знамена и флаги поступают в переработку на трикотажные фабрики. У этого народа ничего даром не пропало. Конечно, завидно смотреть. Но и жуткое что-то здесь. Право дело, каскам лучше смешаться с землей-матушкой в полях и лесах, а знамена со свастикой лучше публично сжечь. Но, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет.

Хотя сегодня упоминать о том, что война остается с тобой навечно, тривиальность, но я повторю: война навсегда во мне. И потому, например, я не люблю запах горячей и тлеющей газеты: махорка, закрутка, кресало, кремь, горячая горькость во рту...

Увы, часто приходится убеждаться в том, что фронтовики не знают элементарных вещей из военного дела, когда пытаются писать о войне. Или подводит память, или их опыт узкий.

Помню профессора-литературоведа, который дал мне трясущимися от волнения и волнительных воспоминаний руками свои фронтовые рассказы. «Карабин с оптическим прицелом» или «градуированная сетка прицела» у снайперского карабина – это цветочки...

Попадаешь в нелепое положение, когда рукопись ветерана, израненного, проведенного под смертными крылами четыре года, оказывается битком набита элементарными ошибками. И тебе, военному мальчишке, приходится на это указывать.

Поколение воевавших уходит. Это серьезное обстоятельство для общества. Ибо это последнее поколение, которое с абсолютно чистой совестью, без всяких общих слов, могло считать себя еще при жизни выполнившим долг перед историей с полнейшей наглядностью.

Как ни удивительно, в нашем семействе была немка – вторая жена отца, Надина Бернгардовна Зальтуп. Отец сошелся с ней, когда мне было около двух лет. Она была могучего сложения, много выше отца. До войны я ее не видел.

Когда уже начались первые бомбежки, мать взяла нас с братом и повезла к ним на Большой проспект Васильевского острова. Мать хотела установить мир в отношениях перед лицом военного лихолетья.

Помню, как плакал отец, когда мы к ним заявили. Он был уже в военной форме – майор.

К сорок четвертому году, когда мы вернулись из эвакуации в Ленинград, их дом разбомбили. И все счастливое семейство оказалось в одной коммунальной квартире: Надина, отец, мать, брат, я и еще еврейская чета – скрипач из оркестра какого-то театра с супругой. Это было веселое житие. Особенно для матери.

Потом Надина Бернгардовна получила комнату – уже в пятьдесят первом году, после смерти отца. Я исчез на долгие годы в казармы и моря. Когда вернулся, начал наблюдать и изучать неизвестную мне «гражданскую жизнь». И потрясся ее фантастической выдуманностью.

Например, Надина регулярно приходила к нам в гости. Она любила мыть полы в материнской комнате или на кухне. Она была значительно моложе матери, и ей доставляло, вероятно, некоторое удовольствие демонстрировать перед стареющей матерью свои еще неплохие физические возможности. Она мыла полы, несмотря на протесты Любочки (так она называла мать), и твердила о том, что у нее еще «кровь горячая». Хотя, вероятно, она этим уязвляла мать; мне кажется, что мать разрешала Надине мыть полов, так как понимала ее одиночество и чувствовала в ней определенную искательность, желание не потерять последней зацепки из прошлого, черпнуть из материнской духовности, приобщиться к материнской способности сохранять тягу к красивому и в самых ужасных жизненных ситуациях.

Надина детей не имела, существовала в зияющем одиночестве, работала каким-то клерком в юридической консультации. И когда она заболела раком, то мать ухаживала за ней, ездила в больницу; и мы одни ее и хоронили. Совестно, что я никогда больше на ее могиле не был и даже начисто забыл, где она упокоена...

Во время войны в блокадном Ленинграде она служила судебным исполнителем! Немка! Жена беспартийного военного прокурора! В блокированном немцами городе – судебный исполнитель!! Ходить по домам и описывать имущество! Это ли не фантастика? Попробуй сочини такое в романе – знатоки нашей жизни от возмущения в собственной слюне захлебнутся.

А вот сделать рассказ про то, как вторая жена приходит к первой и торжествующе полы моет, до сих пор очень хочется.

Какой силы воли была мать, ясно из того, что уже где-то в конце ноября сорок первого года она, силком конечно, водила нас с братом в кино. И в «Авроре» мы смотрели «Приключения Корзинкиной». Но не досмотрели – началась воздушная тревога или обстрел.

Когда отец вышел в отставку и начал тихо спиваться, у него пробудились литературные наклонности. Вот образец его творчества, напечатанный на машинке и подклеенный на первую страницу «Краткого курса истории ВКП(б)». Книга была подарена мне с приказом никогда с ней не расставаться.

«ПАМЯТИ ВАЛЕРИЯ ЧКАЛОВА. Я вношу предложение, чтобы на каждом военном самолете был портрет Валерия Чкалова.

Пусть его прах покоится в Кремлевской стене, но его облик должен всегда парить в небесах. Пусть его улыбка, встречаясь с лучом солнца, скажет солнцу, что он жил для Советского народа, что десятки тысяч летчиков носят в своих сердцах Великого летчика Великой Страны Социализма, которую ведет Великий СТАЛИН. Тяжела утрата.

Я знаю, что ты, солнце, не веришь, не хочешь верить, что ЧКАЛОВА нет, что не прилетит к тебе в поднебесье Валерий, что своими крыльями он больше не будет ласкать твои лучи в поднебесье. Ты любишь его, солнце, первой чудной любовью, того, кто первый долетел до тебя, кто первый коснулся тебя, тебя, солнце, которое дает жизнь.

Он первый рассказал тебе о счастье Социалистической страны, он первый рассказал тебе там, в недостижимой высоте, о правде земной и на своих крыльях принес тебе привет от Великого Сталина, который своим гением согревает человечество.

О, Великое солнце-жизнь, ты пошлешь свои жизненные лучи в Страну Советов, на ее необозримые поля, леса, реки и доли и чтобы мы поняли тебя. Солнце, ты в своем спектре добавишь новый цвет, который назовет человечество ЧКАЛЫЙ.

Этот Чкалый цвет, в грядущих боях, будет светить Сталинским соколам и, переплетаясь с улыбкой Великого Вождя, гения человечества, будет нести победы, победы и еще раз победы трудящимся всего Мира».

Вся орфография, пунктуация остаются подлинными. Больше всего мне нравится «Чкалый цвет». Удивительные прокуроры жили в ту эпоху. А мой отец был не только сталинским прокурором, но, самое смешное, умудрился окончить юридический факультет Петербургского университета. Увы, биография отца настолько темное дело, что мне ее уже не распутать.

По чудовищной орфографической безграмотности мы с братцем в него. Мать не имела никакого образования – закончила какой-то частный пансион, но писала безошибочно.

Когда отец был следователем Василеостровского района, у него стажировался Лев Шейнин. В «Рассказах следователя» Шейнина описаны несколько дел, которые вел отец во времена нэпа, включая знаменитую в свое время историю грабителей склепов на Смоленском кладбище.

Молчать отец умел замечательно даже сильно подвыпивши.

Не знаю, «белые стихи» о Чкалове и Сталине – это мимикрия дрожащего от социального страха человека или его искренний восторг перед свободной судьбой хулиганистого пилота?

Надо сказать, что в конце тридцатых годов отцу пришлось бы вообще плохо, кабы он не расстался с матерью.

У матери было три сестры – мои тети. Все тети были замужем за царскими офицерами. Дяди были фронтовиками в Первую мировую. Их боевыми орденами я играл в детстве. Дяди были настолько наивными вояками, что свои царские воинские отличия не уничтожили. Все они оказались в тюрьмах к концу тридцатых и были реабилитированы в пятидесятые.

Старшая сестра матери Матрена Дмитриевна, когда стала довольно заметной балериной в труппе Сергея Дягилева, сменила имя и стала Матильдой. В семье ее звали Матюней. В расцвет театральной карьеры Матюне на день ангела – девятого апреля – бывало так много различных подношений от поклонников-балетоманов, что бабушка Мария Павловна отправляла мою маму – самую младшую из сестер – с коробками дареного шоколада в Литовский замок. Там была тюрьма (в ней посидел и Фёдор Михайлович Достоевский), и конфеты предназначались арестантам.

В балете Стравинского «Петрушка» Матюня танцевала кормилицу. Особенно вызывал восторги ее лихой и бесшабашный танец, когда по ходу действия вокруг пляшут кучера и другой простой люд.

Было трудно представить тетю Матю в такой роли, потому что, с тех пор как ее помню, она была уже пожилой женщиной с удивительно скромным, тихим, мягким, незаметным пове-

дением в семье. Работала в банке на Невском проспекте – разбирала денежную мелочь и упакowyвала денежки в длинные тюбики согласно их достоинству.

Несмотря на тихость и незаметность, после смерти бабушки Матюня оказалась центром и неформальным лидером всех родственников. Мать любила ее, не побоюсь сказать такого слова, коленопреклоненно. И сохранила два ее письма.

«Париж, 5 май 1914. Мамусеночка моя родная, как Ты здорова? Пишу тебе из Парижа, где находимся уже четыре дня. Устроились хорошо, платим за комнату в отеле 95 ф. в месяц, конечно, без завтрака, но и то слава Богу, ведь за двоих обходится всего 3 ф. в день, есть горячая вода. Ходим обедать в такой же ресторан, как и с Тобой ходили. Любонька (это моя мать. – В. К.) от Парижа в неописуемом восторге, чувствует она себя значительно лучше. Не знаю, воздух ли Монте-Карло оказывает скверное влияние или горы утомляют ее донельзя, но она там едва двигалась, просто иногда, чтобы придти до мой, садилась на каждой скамейке; может быть, лечебные души помогли – она взяла их 11–12. Теперь она репетирует с нами новый балет, их там шесть человек, довольна очень. Мамуличка, я думаю купить себе 2–3 платья к зиме, в Лондоне будут хуже и подороже. Купила Любоньке шляпу, беленькую, отделаем сами. Затем на те деньги, которые она получила, я купила ей черное шелковое платьице, очень хорошенькое, 69 франков. Будешь бранить, так брани меня, Родная. Хотя ты сама, мамусенька, любишь красивые вещи. Работа есть, но балет, который ставят, совсем не трудный, прямо легкий для нас, пока. Эгреты для тети Степановой, конечно, я могу купить, но не знаю, как поступить: в Америке и Англии вышел закон, что носить их нельзя, иначе берут страшный штраф – ввиду того, что уничтожают совершенно птиц, а эти эгреты сдирают с них с живых. Благодаря этому варварству запретили носить, быть может и у нас запретят. На следующие заработанные Любой деньги куплю ей теплое пальто, но это, пожалуй, лучше в Лондоне сделать. Напиши, как думаешь. Целую тебя горячо и крепко-крепко. Твоя Матюша».

Кажется, дело идет о перьях африканских страусов. Во когда еще начинали борьбу за экологию!

Из Рио-де-Жанейро, с парохода, который ранее заходил в Сантос, сентябрь 1913 года: «Сам Дягилев не поехал, едем под начальством барона. Ах, вот новость, наш Нижинский женится. Давно из города в город ездила за балетом одна венгерка, не знаю, помнишь ли ты ее? (Это письмо адресовано матери, которая находилась в России. – В. К.). Потом венгерка стала заниматься у Чекетти, затем была принята в труппу без жалования, так как сама богата. На пароходе она влюбилась, а теперь назначена свадьба. Как посмотрит Дягилев, не знаю. Все этим происшествием очень заинтересованы...»

«СПРАВКА. Конечкая Матрена Дмитриевна находилась на излечении в больнице “В память 25 октября” с 20 января 1942 года. Умерла 22 января 1942 г. Диагноз: дистрофия, тромбоз вен нижней конечности».

Смерть Матюни и средней сестры матери – тети Зики я описал в рассказе «Дверь», но там много сглажено, ибо бумага не все терпит.

Как-то услышал выступление по ТВ старой женщины-блокадницы, которая работала по уборке трупов из квартир. Она – мимоходом так, без особых педалирований, – сказала: «Нас не так удивляла мертвая мать, нежели живой ребенок».

Маму всю оставшуюся жизнь мучило и давило неизбежно тяжкое воспоминание. Воспоминания такого рода страшнее разных людоедств, бомб и снарядов. Последние как-то забываются. Не будешь же ты каждую секунду поминать снаряд, который рванул и кого-то рядом прихлопнул: ну, было такое и прошло. А здесь случай нравственных мук, которые вечно сжимают сердце, которые с особой силой возникают, как только глаза закроешь. Мучения совести. И вот такие мучения мать приняла, чтобы спасти нас с братом.

О подобных нравственных пытках, порожденных блокадой, как-то глухо пишут. А, еще раз подчеркну, они страшнее воспоминаний о муках физических.

Из учебника истории: «В первую зиму морозы начались значительно раньше обычного и не ослабевали до конца марта. 24 января температура опустилась до минус 40 градусов. 25 января остановилась последняя электростанция Ленинграда – “Красный Октябрь”. Нечем стало топить котлы. В город-гигант не притекало более ни единого киловатта электроэнергии. Погруженный в холодный мрак город остался на какое-то время без радио и телефона. Город словно бы онемел и оглох. На предприятиях запускали карликовые станции, работавшие от тракторных или автомобильных моторов...»

К середине января сорок второго года в нашей квартире умерли все соседи. И мы переехали из комнаты, окна которой выходили на канал Круштейна, в комнатенку в глубине дома, окно которой выходило в глухой дворовый колодец. На дне колодца складывали трупы. Но от проживания в этой комнатенке было две выгоды. Во-первых, по нашим расчетам, туда не мог пробить снаряд – на бомбежки мы к этому времени уже почти не обращали внимания. Во-вторых, комнатенку было легко согреть буржуйкой. Окно мать забила и занавесила разной ковровой рухлядью. Спали мы все вместе в одном логове. Буржуйку топили мебелью, какую могли разломать и расколотить. Совершенно не помню, чем заправляли коптилку, но нечто вроде лампы светилось. Декабрьские и январские морозы были ужасными. И у брата началось воспаление легких.

В тот вечер вдруг пришла Матюня. Окоченевшая, скрюченная. Тащила откуда-то и забрела отогреться. Ей предстояло идти до улицы Декабристов, где они жили вместе с Зикой – Зинаидой, – еще одной моей тетей.

Мать варила какую-то еду – запах горячей пищи. Чечевицу она варила. Куда нынче делась чечевица? Малюсенькие двояковыпуклые линзочки, их нутро вываривается, а шкурки можно жевать.

И вот мать, понимая, что если Матюня задержится, то ей придется отдать хоть ложку варева, ее выпроводила, грубо, как-то с раздражением на то, что сама Матюня не понимает, что ей надо уходить – уже плохо сознавала окружающее. Она понимала только, что мороз на улице ужасный и что ей еще идти и идти – по каналу до улицы Писарева, и всю эту улицу, и улицу Декабристов. И все это по сугробам, сквозь тьму и липкий мороз. От огня буржуйки, от запаха пищи. Из логова, в котором был какой-то уют. Как он есть и в логове волчицы.

И мать ее выставила: «Иди, иди! Надо двигаться! Зика ждет и волнуется! Тебе надо идти! Там чего-нибудь есть у вас есть!»

И Матюня – этот семейный центр любви и помощи всем – ушла...

Она глубоко верила в Бога; так, как нынче уже никто в современном мире не верит; в доброго, теплого, строгого и справедливого православного Бога. Она выбиралась из комнатенки, шаря руками по стене, и бормотала молитву.

Недавно прочитал у Лескова:

«– Умилосердись, – шептала она. – Прими меня теперь как одного из наемников твоих! Настал час... возврати мне мой прежний образ и наследие... О доброта... о простота... о любовь!.. О радость моя!.. Иисусе!.. Вот я бегу к тебе, как Никодим, ночью; вари ко мне, открой дверь... дай мне слышать бога, ходящего и глаголющего!.. Вот... риза твоя в руках моих... сокруши стегно мое... но я не отпущу тебя, доколе не благословишь со мной всех...»

Когда я читал молитву у Лескова, то опять увидел уходящую Матюню и вспомнил ужас перед тем, что делает мать, и крик брата: «Пусть Матюня останется!» Но у матери были свои предположения на наш счет. Она лучше знала, сколько в каждом осталось жизни или сколько в каждом уже было смерти.

«Нас не так удивляла мертвая мать, нежели живой ребенок...»

Мать сказала нечто вроде: «Прекратите истерики и ешьте!»

Через несколько дней мне приснился сон, который я рассказал матери: я видел ясное и теплое, летнее солнышко, и вдруг оно среди бела дня закатилось, и я понял, что оно больше не

взойдет никогда. От страха проснулся. (Кстати, такое же ощущение безнадежного ужаса, как в том сне от закатившегося вдруг среди бела дня солнца, я испытал, уже будучи офицером, узнав о смерти Сталина.)

Когда я рассказал сон, мать сказала: «Это умерла Матюня! Иди к ней! Это я виновата, я ее тогда выставила! А зачем она сидела так долго?»

Я был к тому моменту самым жизнеспособным. Меня закутали и запеленали в разную одежду, и я пошел на улицу Декабристов.

Матюня была еще жива, а тетя Зика уже умерла и лежала на диване почему-то полуголая и в валенках. Матюня сидела в кресле, примерзнув к нему и к полу. Я затопил печурку. Почему-то у них на кухне валялись деревянные колодки для обуви. Из клеенки и колодок я и соорудил костерчик. И пошел за матерью и братом. Матюня все это время молилась. В молитвах она благодарила Христа за те муки, которые он послал ей, ибо теперь возьмет ее к себе, минуя, так сказать, ад и чистилище. Я вернулся домой. И мы все трое пошли на улицу Декабристов, взяв детские санки, чтобы привезти на них Матюню к нам. Но из этой затеи ничего не вышло; ни спустить по лестнице полубезумную Матюню, ни тащить ее через сугробы нам было не по силам.

Не помню, каким образом мать добралась до Александра Яковлевича Соркина. Это был отец жены моего двоюродного брата Игоря Викторовича Грибеля. Он и устроил отправку Матюни в больницу, ибо был главврачом военного госпиталя.

Тетя Зика – моя крестная, Зинаида Дмитриевна, – когда-то пела в хоре Мариинского театра. Это была женщина тяжелого характера, как теперь понимаю, истеричка. Их ссоры с матерью заканчивались для матери обмороками.

Возле трупа Зики на столе лежала записка, нацарапанная обгорелой спичкой, и тоненькая свечечка. Записка сейчас передо мной: *«Прошу зажечь эту венчальную свечу, когда умру – З. Д. Конецкая-Грибель»*. На том же клочке бумаги нарисован план какого-то кладбища.

Муж Зики Виктор Федорович Грибель к началу войны уже погиб в Крестах.

От него сохранена моей матерью одна только бумажка:

«МАНДАТ. Выдан съездом железнодорожных войск Северного фронта Штабс-капитану ГРИБЕЛЬ в том, что он делегирован Съездом в Министерство труда и в Секцию труда при совете Рабочих и Солдатских Депутатов для представления резолюций, выработанных Съездом.

Председатель Съезда Солдат (подпись я не разобрал. – В. К.)

Секретарь Модейчук.

11 мая 1917 г., г. Псков».

Сын Виктора Федоровича, Игорь Викторович Грибель – мой двоюродный брат, в войну сапер, лейтенант, по официальным документам пропал без вести в сорок первом под Тихвином, а по неофициальным – подрывался на противотанковой мине, то есть от него и праха не осталось.

Я его очень любил и хорошо помню, как он к нам заскочил на минуту попрощаться, уже в походной форме с полуавтоматической винтовкой где-то в сентябре сорок первого.

Дядю Витю тоже помню. Это был серьезный, молчаливый мужчина, в пенсне или очках, хороший шахматист. Арестовали его первым.

Несколько раз я был с матерью и тетей Зикой в Крестах в очереди на передачи. Молчаливая была очередь.

Двоюродный брат Игорек, как теперь вижу из следующего документа, был не робкого десятка юноша:

«Копия.

Народному Комиссару Внутренних дел СССР тов. Берия, Главному Военному Прокурору СССР, Москва, Пушкинская ул., 15-а



от гр-на Грибель Игоря Викторовича, инженера Жилуправления Ленсовета, проживающего гор. Ленинград, ул. 3-го Июля, 71, кв. 4

Заявление

6-го февраля 1938 г. мой отец Грибель Виктор Федорович 1887 г. рожд., был арестован органами НКВД на ст. Сланцы-Поля Гдовского района, где он работал в должности Ст. Производителя работ Строительства Сланцы-Битумного Завода УШОСДОРа НКВД немного более года. До начала декабря 1938 г. Ленинградская Областная Прокуратура, при наведении справок, сообщала, что дело гр-на Грибель числится за ней, а с 3-го декабря 1938 г. по апрель 1939 г., где находится дело, установить было нельзя – дело пропало.

3-го апреля 1939 г., на приеме, наконец, удалось установить, что дело поступило в Военную Прокуратуру – Ленинград, пр. 25-го Октября, д. 4.

10 апреля 1939 г., на приеме, Военный Прокурор сообщил, что дело моего отца было в Военной Прокуратуре, но потом возвращено в НКВД для доследования.

В мае 1939 г. в Справочном Бюро НКВД была получена справка, что следствие закончено и дело передано через Военного Прокурора в Военный Трибунал.

11-го июня 1939 г. в Военном Трибунале подтвердилось, что дело там, и впервые было получено разрешение на передачу белья. Через месяц, т. е. 11 июля 1939 г., в Военном Трибунале была получена справка, что дело вновь возвращено из подготовительного заседания в Военную Прокуратуру для доследования и пока новых сведений нет.

**Итак 19 месяцев по делу моего отца решения нет.**

Я глубоко уверен в невиновности моего отца, а 19 месяцев безрезультатного следствия лишь подтверждает мое глубокое убеждение в этом. О состоянии здоровья заключенного моего отца после 19-ти месяцев содержания под стражей говорить не приходится. В октябре 1938 г. он находился в больнице, в июне 1939 г. – опять в больнице.

Гражданин Прокурор, я прошу Вас истребовать дело в порядке надзора и положить конец грубому нарушению закона. Если мой отец виноват в инкриминируемом ему преступлении, пусть его судят, а если не виноват, прекратите его мучения и мучения его семьи.

И. Грибель. 6.8.39».

Я любил Сталина, любил его улыбку. У меня в заветной тетрадке была его фотография – в белом кителе, со Светланой на руках, у южного моря. В затянувшуюся бомбежку на 7-е ноября сорок первого мы в бомбоубежище под зданием Управления Октябрьской железной дороги – это напротив Александринского театра – слушали его речь и историческое бульканье воды в его стакане, когда он делал паузу и отпивал глоток. И я плакал от веры в него и от любви к нему. Он умел говорить образно и ценил юмор. Это он сказал (или повторил какого-то классика): «Полное одинодушие бывает только на кладбище».

Отлично сказано!

И когда ему захотелось полного одинодушия, он начал превращать страну в подобие кладбища, ибо у него дела не расходились со словами.

Поразителен его интерес к языку накануне смерти. В начале пятидесятых я с интересом изучал в военно-морском училище «Марксизм и вопросы языкознания». Читать труд дилетанта о проблемах языка куда занятнее, нежели сочинения ученого-языковеда. Над последними умрешь со скуки.

Сквозь треск пустых речей и славословий он слышал накануне смерти гробовую тишину народного молчания – «народ безмолвствует». А в этой тишине молчания он слышал грозные слова, и он взялся за проблемы языковедения, ибо только слова, язык не подчинялись его воле и продолжали где-то жить и копошиться.

Занятно, что и говорливый Никита Сергеевич среди забот и хлопот по догонянию Америки нашел время заняться языковой реформой.

Первые седые волосы у меня появились, когда я был всего лишь лейтенантом. Мой подчиненный матрос Амелькин во время выборов зашел в кабину для тайности голосования. Это было ЧП на весь Северный флот. Матрос сидел в кабине не меньше часа. Страшный час моей жизни. Потом оказалось, что Амелькин – отменный патриот. В кабине на бланке бюллетеня он сочинял стихи, посвященные Сталину. Они ненамного отличаются от отцовского сочинения про Чкалова.

Второй по возрасту после Матюни была тетя Оля. Ее муж, мой дядя Сережа, тоже был штабс-капитаном, фамилия его была Васильев, а отчества не помню. Сперва их семейство выслали в Саратов, потом всех посадили. Дядя Сережа и его дочь Кира умерли в лагере от голода уже после начала войны. После революции дядя Сережа работал корректором в типографии и любил сам ремонтировать сапоги.

Дольше всех тетя продержалась на этом свете тетя Оля – единственная из сестер матери, которая сама провела многие годы в лагерях, – так почему-то случается довольно часто: кто оттуда выходил живым, как бы сдавал экзамен на выживаемость.

Так вот, хорошенькое было положение у отца, когда все материнские родственники при первых признаках стужения туч над головами бежали, естественно, за помощью к нему – прокурору. И какова была у отца выдержка, ежели он так и не оформил официально развода с матерью (это я из того выводжу, что после смерти отца пенсию за него – четыреста рублей теми деньгами – получала мать, а не Надина).

Как-то из каких-то южных плаваний я привез много кораллов. И вдруг решил один коралл отвезти отцу на могилу, ибо решил, что был он революционным романтиком, а все романтики – в чем-то наивные и хорошие люди.

Я верю в нашу молодежь.

Нельзя жить, не веря в нее.

Я верю, что рано или не слишком уж поздно молодежь оживит все омертвелое, что накопилось за десятилетия в стране и народе.

Отец не был членом партии. Зато очень гордился моим ранним вступлением в нее.

Неудачливый революционер М. И. Муравьев-Апостол писал на закате дней: «Каждый раз, когда я ухожу от настоящего и возвращаюсь к прошедшему, я нахожу в нем значительно больше теплоты. Разница в обоих моментах выражается словом: любили. Мы были дети 1812 года. Принести в жертву все, даже саму жизнь ради любви к Отечеству, было сердечным побуждением. Наши чувства были чужды эгоизма. Бог свидетель этому...»

Пускай это звучит выпендрено, но мое поколение военных подростков были и есть дети 1941 года: тогда мы научились любить отечество.

## Под сенью русских сфинксов в Коломне

*Усядьяся, муза; ручки в рукава,  
Под лавку ножки! Не вертись, резвушка!*  
**А. С. Пушкин. Домик в Коломне**

*Без сомнения, немногим из вас... известна хорошо та часть города,  
которую называют Коломной... Тут совершенно другой свет, и, въехавши  
в уединенные коломенские улицы, вы, кажется, слышите, как оставляют  
вас молодые желания и порывы.*  
**Н. В. Гоголь. Портрет**

Именно тут-то, в Коломне, молодые желания и порывы никак меня не оставляли и, увы, довели до греха.

В конце сороковых годов на Фонтанке возле отсутствовавшего в те времена Египетского моста стояли под гранитной стенкой наши шлюпки – штук двадцать шестивесельных ялов в два ряда, цугом, на фалинях. Шлюпки принадлежали Первому Балтийскому высшему военно-морскому училищу. Плавсредства – вещь ценная. И потому здесь дежурили круглосуточно два курсанта. Пост этот так и назывался – «У шлюпок». На двадцать четыре часа ты исчезал из казармы в коломенские нети – это было замечательно. Особенно в белые уже ночи – в конце мая, в начале июня.

На посту разрешалось читать. Сидишь себе на корме концевой шлюпки, почитываешь «Кавалера Золотой Звезды», покуливаешь отсыревшую махру и поплеываешь за борт – в грязную воду, где плывут и плывут в Финский залив, в дальние моря и океаны, как нынче пишут в словарях, «средства механической защиты от венерических заболеваний и для предупреждения беременности».

Черт, сколько этих средств несли в конце сороковых Фонтанка, и Мойка, и канал Грибоедова, да и сама державная Нева! Суровый запрет на аборт – дабы поскорей восполнить те двадцать миллионов, которые полегли от Ленинграда до Берлина. Плюс никаких еще тревог и забот об охране окружающей среды.

Нагляделся я со шлюпок на эти средства механической защиты производства завода «Красный треугольник» в нежной юности на всю катушку. По первым разам с души перло, есть не мог, хотя страдал еще ощущением непрерывного голода. Потом, конечно, привык, перестал замечать, ибо душа моя тянулась к поэтическому, к живописи и к первой, светлой, чище подснежника, любви.

Об этом и мечталось в мои двадцать лет на посту у шлюпок и в августовские, уже темные, ночи, и в первые ночные морозцы сентября, когда из широких печных труб на крышах старинных домов начинали куриться дровяные дымы, ну и, конечно, особенно хорошо мечталось в белые ночи. Глядишь из шлюпки, как с вечера освещаются семейными, абажурными огнями окна, а потом гаснут и тогда на набережных остаются только бессмысленно мигающие в пустоте светофоры.

Чуть колыхнет шлюпку, шкрябнет она деревянным буртиком об осклизший гранит; напарник закемарит, все тихо, и в этой тишине бесшумно спланирует к реке бессонная чайка, сядет, повернувшись против ветерка, крикнет что-то глухим, отсыревшим, как твой бушлат, морским голосом. И все это над медленной водой, под сенью сфинксов, которые возлежали на парапетах, охраняя давно отсутствующий мост.

Мост этот был построен в 1826 году, а двадцатого января 1905 года в 12.19 на мост вступил 3-й эскадрон конногвардейского полка. Шестдесят гордых всадников возвращались из столицы в Петергоф. Кроме них на мосту находилось девять прохожих и два извозчика.

Один «ванька» оказался чрезвычайно невезучим, и фамилия у него была соответствующая – Горюнов.

В 12.20 раздался оглушительный удар, «подобный, – как писало “Новое время” Суворина, – залпу десятка орудий. Вслед за ударом, через несколько секунд, со стороны моста раздались визги, крики, шум и ржание коней. . .» Одновременно все авторы учебников по физике для гимназий довольно потеряли руки, прямо в которые рухнул замечательный пример для главы «Резонансные колебания».

Грохот рушащегося моста слышала моя матушка, которой было двенадцать лет, а находилась она в семейном гнездышке, в центре Коломны, в доме угол Екатерининского и Лермонтовского проспектов, напротив Эстонской церкви.

Так как катастрофа произошла через одиннадцать дней после «кровавого воскресения», то в газетах были попытки объяснить крушение моста не резонансом, а преступной халатностью царского городского головы.

Никто не погиб – brave конногвардейцы и потомки Акакия Акакиевича Башмачкина отделались ушибами и купанием в ледяной воде Фонтанки. Утонуло лишь несколько лошадей, среди которых и лошадка извозчика Горюнова.

Ужасное – во всех смыслах – потрясение лишило его рассудка, и бедный извозчик стал обитателем мрачного сумасшедшего дома на Пряжке. Необыкновенно тихий, ни с кем не вступающий в контакт и таким своим поведением схожий с давним моим героем Геннадием Петровичем Матюхиным, удревшим от сует и пошлости мира в кашалота, Горюнов забивался в какой-нибудь больничный угол и часами смотрел в одну точку. (В отличие от другого знаменитого безумца – уроженца здешних коломенских мест Евгения, который когда-то спасался от неистовых невских вод на льве возле Исаакия, а потом грозил Петру Великому и всем царям мира.)

Из отчуждения и отстраненности извозчика Горюнова выводило лишь неожиданно доносившееся конское ржание, когда в больницу доставляли хлеб и продукты. Тогда «ванька» подбегал к зарешеченному окну, надеясь увидеть лошадей.

В конце концов его выписали из больницы.

И он стал ежедневно приходить к обвалившемуся Египетскому мосту, залезал (так уж мне хочется) на уцелевших сфинксов, благо залезть на них было просто, а городские его не прогоняли. И, сидя на сфинксах, неотрывно смотрел на медленно текущие воды Фонтанки, вослед своей лошадке.

Ну и однажды не вернулся в ночлежку.

По предположению психиатра Борейши и журналиста Эд. Аренина, Горюнов в состоянии гнетущей тоски бросился в реку и утонул, уплыл в Финский залив и в далекий океан. . .

1905 год – начало XX века – время арлекинов, клоунов, маскарадных масок. Вспомните натюрморты той поры – сколько в них театральных масок! И в этом есть какой-то тайный и большой смысл, который провиденчески чувствовал Блок. Из этих арлекинов с белыми лицами и маскарадных масок рождались Пикассо и Шагал. Последнее придумал лично я, но не судите строго, ибо внутренний смысл начала XX века мне уже не ощутить. . .

Ежели сфинксы возле Академии художеств натуральные и привезены из Египта, то сфинксы Египетского моста ниоткуда не привезены. Их породил тот же ваятель, который сотворил прямо под перо Пушкину «Девушку с кувшином», – академик П. Соколов; ту самую девушку, которая, урну с водой уронив, об утес ее разбила. . .

Эти замечательные стихи я вспомнил потом в порту Арбатаск на немыслимо далеком острове Сардиния, направляясь на теплоходе «Челюскинец» в греческо-египетские края.

Сфинксы бывают двух национальностей.

Греческий Сфинкс – дочь Тифона и змеи Ехидны, жила на скале близ Фив и задавала каждому гуляющему загадку: «Кто ходит утром на четырех ногах, в полдень на двух и вечером

на трех?» При этом Сфинкса обязывалась в случае разрешения загадки умертвить себя; не разрешавших же загадки она пожирала. Никаких затруднений с продовольственной программой у Сфинксы не было много веков по причине безнадежной тупости древних греков. Пока не явился Эдип с его комплексом. Он разгадал загадку, и Сфинкса, будучи джентльменом, вынуждена была сдержать слово и прыгнуть со скалы в Средиземное море.

Египтяне же считали Сфинкса олицетворением в образе полуженщины-полульва царской власти, соединяющей силу льва с разумом человека. Когда Сфинкса сооружали царицы, они давали им женские головы, а также груди. И тогда Сфинксы олицетворяли неизбежность судьбы и нечеловеческие муки.

Женщины к этому моменту волновали меня уже до головокружения – в полном смысле слова. Увидишь на улице этакую сержанточку в сапогах, в короткой зеленой юбке – тогда короткие юбки вроде только армейские женщины носить могли, – увидишь этакую сержанточку с талией в ремне, с ляжками под юбкой в обтяжку – и голова кружится от какой-то дурноты и бешеной злобы на недоступность по причине собственной робости. В Эрмитаж, правда, мне в те времена тоже не рекомендовалось ходить. Помню, как бежал я один раз от скульптуры бессмертного Родена «Поцелуй». В этой скульптуре девушка и юноша так гармонично переплелись, что святых выноси. Меня и вынесло.

Пишу все это и даже вздрагиваю от гражданской смелости и думаю о том, что после Вересаева, вероятно, ни один из наших советских писателей не переживал мучительных, пыточных периодов мужского созревания. И ни один из наших писателей, как я могу судить, включая даже лауреатов, первородного греха не совершал...

Да что там Роден! Чугунные грудки полуженщин-полульвов на парапетах возле провалившегося Египетского моста и те вызывали головокружение.

Помню, у юго-западного сфинкса под левой грудью была здоровенная пробоина от осколка снаряда или бомбы. Так мы в эту пробоину вечно заглядывали. Могу сообщить вам, что сфинксы полые внутри, была там затхлая полутьма, окалина, окурки и битые бутылки.

И вот белая ночь, перламутровый свет, без всплеска течет Фонтанка, не дрогнут в ней отражения спящих домов.

Устои провалившегося моста в сотне метров и черные рваные пробоины в телах сфинксов.

Сфинксы лежали и на этой, и на той стороне реки, лежали непоколебимо, невозмутимо, вечно задумчиво, глядя и в жизнь и в небытие незрячими глазами, соединяя вечное страдание, неизбежность судьбы и с радостью, и с нечеловеческими муками.

У тех послевоенных сфинксов не было золота на широких лентах, ниспадающих на плечи; золото давно облезло с чугуна.

Если не хочешь предаваться мистике и загадочности, то это добрые, серенькие сфинксы. Задние лапы поджаты, но впечатления, что звери хотят куда-то прыгнуть, нет. Если глядеть на сфинксов в фас, то все формы их мягкие, лица сохраняют ощущение жизни, живости – что редко у скульптур. Передние лапы полульвов, которые вытянуты, без когтей, пухлые. В общем, нет в сфинксах Египетского моста ничего потустороннего, даже если будешь смотреть на них долго-долго и прямо в незрячие, слепые глаза. Эти сфинксы на Лермонтовском проспекте очень русские. Вообще Коломна – самая российская часть Ленинграда.

Из шлюпок нам разрешалось вылезать, дабы размяться и прогнать сон. И вот вылезешь по штормтрапу – три гранитных блока от воды до решетки набережной, – вылезешь, подойдешь к сфинксу, заглянешь почему-то опять в снарядно-осколочную пробоину под левой грудью, добавишь туда еще один окурочек и пойдешь вдоль шлюпочного цуга. Длина яла семь шагов – равна расстоянию между гранитными тумбами.

Идешь вдоль шлюпок, считаешь шаги над текучей грязной водой, которая медленно втягивается в пространство между устоями обрушившегося моста. На середине реки ветерок чуть тревожит воду и по ней бежит мелкая-мелкая рябь – как на стиральной доске.

Пусто вокруг. Город спит.

Только изредка промчится «скорая помощь», разбрызгивая оставшиеся после короткого дождика лужи. Или пройдет хмурый милиционер (вполне возможно, внук извозчика Горюнова), но даже не глянет в твою сторону – не испытывали в те времена милиционеры особых симпатий к матросам.

Кошка перебежит из парадной в подворотню четырехэтажного дома № 136, проходного, сквозь открытые ворота которого видны мусорная яма и поленницы дров. (Сейчас в этом доме школа ОСВОДа.)

Или вдруг на радость тебе вылезет из подворотни собака – уж такого дворняжеского вида, что дальше и ехать некуда: мокрая и испачканная; за ней в обязательном порядке появится вторая. Ежели первая вылезет черная, то потом за ней вылезет рыжая с белым пятном, тоже, конечно, мокрая и грязная. А если первая будет рыжая с белым пятном, то вторая обязательно будет черная и хвост кольцом – любовь у них. И вот они стоят минут десять – пятнадцать в сосредоточенном молчании, глядят в перспективу Фонтанки и думают свои собачьи думы. А ты, ясное дело, испытываешь к ним явную солидарность и большую симпатию. И возникает извечный вопрос: кому лучше живется, бесхозным псам, то есть Гекам Финнам, или Томам Сойерам?

Нынче по набережным Фонтанки прогуливают породистых мопсов на поводках. Или, что еще страшнее, трусят в оздоровительном беге мопсовые дамы-хозяйки.

Боже, что стало бы с Пушкиным, коли он вдруг увидел бы этих дам, когда писал «Руслана и Людмилу» в доме адмирала Клокачева возле Калинин моста! Это дом № 185. Там умер потом в забвении и нищете отставленный от архитектуры Карло Росси...

Акваторию нашего текучего сторожевого поста замыкал скромный, безо всяких украшений, пешеходный мостик Красноармейский. Он был выше по течению.

У этого моста в Фонтанку впадает Крюков канал. Сюда нам разрешалось доходить – метров сто от передней шлюпки.

Тылы городской больницы № 17 («В память 25 Октября»). Огромные парадные двери заколочены, и окна вспомогательных больничных корпусов тоже заколочены, без стекол и производили очень грустное впечатление, как и все прибольничные строения на свете.

В полукруглом маленьком скверике, огражденном решеткой из пик, постамент без памятника – черный гранитный куб. От тротуара его отделяют якорные цепи. Весенние липы в скверике низко склонились, и пики ограды давно выросли-впились в их черные стволы. В холодные ночи из люков в скверике поднимается вонючий пар; вокруг люков растет бурьян и понурая трава, засыпанная прошлогодними еще листьями. Каменный парапет ограды кое-где покрыт мхом, очень сыро.

За Смежным мостом хорошо просматривается до самого конца Крюков канал. Его булыжные мостовые были разорены, но тополя продолжали жить среди нагромождений проржавевшей трофейной техники.

В Крюковом канале чудесным видением отражается колокольня Никольского собора. Колокольня бело-голубая. Ее шпиль был замазан маскировочной краской. Но в верхнем, подшпильном проеме колокольни четко рисовался черный колокол. Им любовался опальный Суворов, умирая в доме напротив.

Сам Никольский собор – главный морской и рыбацкий собор России. Первую державную службу в нем отслужили в честь победы над турками при Чесме в 1770 году. Собор двухэтажный. В проходе второго этажа уже скоро век висит наша семейная икона Тихвинской богوما-

тери – подарок всем морякам и рыбакам от бабушки Марии Павловны, которая знать не знала, что ее внука пронесет по всем океанам планеты – семейство было на сто процентов сухопутное.

Михаил Херасков в стихотворении «Чесменский бой» возвышенно писал: «Пою морскую брань, потомки, ради вас!» Я последую за нашим древним стихотворцем, но, правда, слово «брань» буду толковать часто в расширительном смысле. Имею в виду не только флотскую ругань, но и всякие другие темные грешки молодости...

В одном квартале от Фонтанки начинаются желтые лабазы Никольского рынка с его низкими, купеческими арками.

На Старо-Никольском мосту и по Садовой улице в послевоенные годы трамвайные рельсы лежали на шпалах прямо поверх земли...

Здесь постоишь минуту-другую, послушаешь сонное дыхание города и вороний ор. Вороны вокруг бродят по лужам и со скуки стараются подобраться к тебе поближе, потом притворно пугаются, взлетают на чугунную решетку набережной, вцепляются в нее хищными лапами. Вороны, вообще-то, любят человеческое общество, их тянет к нам...

В тот раз напарником на посту возле шлюпок был у меня Серёга Ртахов, шикарный парень, сын адмирала, клеши у него шевиотовые были, победительная наружность и хорошие организаторские способности. И еще потомственно привязан был к военно-морской службе, служил лихо, без напряжения, с некоторым снисходительным гонором к тем, кто, как я, попал в военно-морское училище не своей волей, а волей и игрой непредсказуемых сил, то есть войной. После училища служба у Сереги пошла превосходно, одним из первых стал командовать крупным десантным кораблем, потом соединением, а потом с такой же стремительностью полетел вниз, оказался вышвырнутым с военного флота, занесло на Колыму, где работал он лоцманом. А был у меня последний раз года три назад. В измызганом пальто, застойно пьяный. Просил пятерку. Я дал десятку. Потом получил от него письмо из туберкулезной загородной лечебницы. Он просил прислать какую-нибудь мою книгу. Я не прислал. И не поехал к нему, хотя писал он мне, конечно, в расчете на то, что я приеду и привезу ему бутылку. Вроде бы после того, как его подлечили, он сейчас работает сторожем в морге при той же больнице, где лежал.

Вот вам пример российского алкоголизма при полном жизненном успехе, здоровье, красоте; при полном ладе и гармонии с социальной действительностью.

Серёга Ртахов и толкнул меня на тропу грехопадения в парадную дома № 136, угол Лермонтовского проспекта и Фонтанки.

Застучали в белой ночной тиши каблучки над нашими головами по граниту набережной – об этом стуке я в каком-то раннем рассказе написал, но только остальное все там выдумал и занавесил застенчивой занавеской социалистического реализма.

А по правде, свесилась к нам сверху, через чугун решетки, кудрявая головка этакой моей сверстницы. Сказала, что с танцев бежит, но там, на танцах, настоящих парней не было и ей теперь скучно – «ну, просто ужасно как скучно!»

Серёга мгновенно усек, что к чему, и полез по штормтрапу развлекать девицу. А я остался наедине со средствами механической защиты и размышлениями о своей непутевости в женском вопросе.

Так и не знаю, что там Серёга наговорил про меня девице, но он быстро вернулся и велел идти к ней в подъезд.

Скинул я клеенчатый, с капюшоном плащ, вылез на набережную и философски задумался в полнейшей нерешительности; ежась в своем отсыревшем бушлате и робе; глядя на глухую стену больницы, и на весенние тополя, и на серое, как дым, последождное небо, и на далекие синие купола Троицкого собора с пушистыми – в золотых лучах – крестами.

– Кавалер! Совсем замерз? Долго тебя ждать? – крикнула Ева из подъезда дома № 136.

И Адам побрел через Рубикон, вспугивая из луж ворон, мокрых, с густо-серыми грудками.



В парадной Ева шепнула:

– Не бойся – у меня вообще-то муж есть...

А потом сунула мои замерзшие руки в свое теплое женское и захихикала от их прикосновения.

Утром по дороге к себе на работу на завод «Красный треугольник» она опять простучала каблучками над нашими головами по древнему граниту, опять перевесилась через чугунные перила, крикнула нам:

– Эй, мальчики, как вы тут? Смена скоро?

Мне так стыдно было, что я послал бы ее к далекой матери, кабы не Серёга. Он показал мне кулак, а ей помахал рукой и пожелал доброго утра. Она засмеялась, кинула нам кулек с тремя конфетами – соевыми батончиками:

– Это вам на завтрак, мальчики! Только не подеритесь!

– Как тебя звать? – спросил Серёга.

– Нина! Ну, я побежала!

И убежала.

Вопрос, которым Пушкин заканчивает «Домик в Коломне», здесь годится и мне: «“Ужель иных предметов не нашли? Да нет ли хоть у вас нравоученья?” – “Нет... или есть: еще полчасика терпенья...”»

## Как я первый раз командовал кораблем

«Секретно. Командиру “СС-4138”

лейтенанту Конецкому В. В.

Капитан-лейтенанта

Дударкина-Крылова Н. Д.

РАПОРТ

Настоящим доношу до Вашего сведения по пожарной лопате № 5. При обследовании пожарной лопаты № 5 мною установлены нижеследующие отклонения от приказа Главкомандующего ВМС СССР.

1. Черенок лопаты короче стандартного.
2. Насажен плохо, качается.
3. На конце черенка нет бульбы.
4. Трекер лопаты забит тавотом.
5. Щеки лопаты ржавые, не засуричены.
6. Лопата не совкового типа.
7. Черенок лопаты не входит в держатели на пожарной доске.
8. Лопата на пожарном стенде вследствие этого не закреплена, а держится черт как.
9. Лопата не окрашена в красный цвет.
10. На лопате нет бирки о последней проверке.
11. На лопате отсутствует инвентарный номер.
12. Лопата не учтена в приходно-расходной книге.
13. Лопата не включена в опись пожарной доски.
14. Лопата висит не на штатном месте. Далеко от места будущего пожара.
15. При опробовании – лопата сломалась.
16. Сломанная лопата не была внесена в акт списания.
17. Лопата не исключена из описи пожарной доски.
18. Нет административного заключения о причине поломки лопаты.
19. Нет приказа о наказании виновника поломки лопаты.
20. Лопата и до поломки превышала по весу норматив на 11 кг 250 г.
21. Лопата не была закреплена за конкретным матросом боевого пожарного расчета.
22. В процессе эксплуатации лопата неоднократно использовалась не по прямому (пожарному) назначению. Дознанием установлено: в зимних условиях ею чистил снег на палубе боцман, старшина I статьи Чувиллин В. Д. Тогда же ею были нанесены побои боцману, старшине I статьи Чувиллину В. Д. А 08 марта пожарная лопата использовалась на демонстрации для несения на ее лотке портрета женского исторического лица.

Вывод. Ввиду окончательной поломки лопаты – заводской № 15256 (корабельный № 5) – признать дальнейшее ее использование для боевых и пожарных нужд невозможным. Стоимость шанцевого инструмента списать за счет боцмана, старшины I статьи Чувиллина В. Д.

Для определения стоимости лопаты (черенок, тулейка, наступ, лоток) создать комиссию в составе 3 (трех) офицеров, включая начальника медико-санитарной службы старшего лейтенанта Захарова А. Б.

Поверяющий: капитан-лейтенант

Дударкин-Крылов Н. Д.

*Порт Архангельск. борт “СС-4138”,*

*Июля 08 дня 1953 г.»*

С автором этого секретного документа я и собираюсь познакомить вас ближе.

# 1

*Все вышли в экспедицию, (считая и меня),  
Сова, и Ру, и Кролик,  
И вся его семья.*

**Винни-Пух**

«16 ИЮНЯ 1953 г. СССР. СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ. УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВ.

Тов. лейтенант, на Ваше письмо от 09.06.53 г. сообщаю, что оснований для перевода Вас на Тихоокеанский флот нет. В дальнейшем по вопросу прохождения службы прошу обращаться по команде в соответствии со ст. 5 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Союза ССР. ВРИО НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ КАДРОВ СФ КАПИТАН 2 РАНГА ЕВСЕЕВ».

Самый не освещенный пока в мировой прессе период моей жизни (из-за врожденной скромности) – военная служба на Северном флоте.

Есть срок давности. Прошло больше тридцати лет. Можно кое-что вспомнить. Я служил на военных спасателях, но серьезные аварии случаются редко. И главная работа – буксировка или судоподъем, то есть извлечение из морских глубин затонувшего железа.

Безнадежно скучно было летом. Стоишь в какой-нибудь удаленной от цивилизации бухточке на якоре. Без связи с берегом. За бортами десятки понтонов – ржавые железные бегмоты, опутанные пуповинами воздушных шлангов.

Под килем когда-то погибшее судно.

О том, кому на этом судне не повезло, не думаешь.

Работают водолазы и такелажники, а ты занимаешься боевой и политической подготовкой. То есть объясняешь матросам про дубовые лесополосы и коварство академика Марра. А матросы у тебя настырно интересуются причиной самоубийства Маяковского: «Это правда, товарищ лейтенант, что он венериком был?»

Коли я уж так с ходу расхристался, то объясню все-таки, почему написал тогда письмо в кадры Северного флота с просьбой о переводе на Камчатку.

Конечно, крошечная скука от теоретических занятий с матросами и монотонность судоподъемных работ свою роль сыграли, но истинные причины были серьезнее.

Поднимали мы австралийский транспорт «Алкао-Кадет» возле мыса Мишуков. В сорок втором году австралиец затонул, получив прямо в дымовую трубу полутонную немецкую бомбу.

Поднимали его трудно. Транспорт хотел покоя и не желал возникать обратно на свет божий из тишины и мягкого сумрака морской могилы.

Наконец все-таки наступил волнительный и торжественный момент продувки понтонов. И из бурлящих вод, обросший водорослями, занесенный илом, в гейзерах воды и струях травящегося из понтонов воздуха возник потревоженный от вечного сна пароход – огромное морское чудо-юдо. Защелкали фотоаппараты, заорали «ура», вскинули над головами чепчики, – матросики летом на Севере именно чепчики носят. Выждали положенные мгновения и полезли на утопленника за чем-нибудь полезеньким. Спасение на водах всенепременно связано с таким постыдным фактом – такое было, есть и будет. Ибо спасателям извечно кажется, что они имеют чистой воды моральное право «на некоторое количество сувениров» – так скажем для приличия.

Я пробрался в штурманскую рубку транспорта. И обнаружил среди ржавого железа какие-то черные и мерзко скользкие кипы. Пхнул сапогом одну – она развалилась, и в середине проглянула прилично сохранившаяся бумага. Оказались австралийские навигационные пособия, вахтенные журналы, лоции – слипшиеся, спрессованные тяжестью морской воды, как

бы обугленные по краям страницы. Тут я и забыл про то, что хотя любопытство не порок, но все-таки большое свинство. Набил полную пазуху мокрыми документами и вдруг услышал сперва гудок, а потом аварийные тревожные свистки и ощутил под ногами дрожь металлического покойника.

Всех спасателей мгновенно сдуло с этого «Алкао-Кадет».

Хорошо помню, как наш боцман волок на родной спасатель шикарный австралийский стульчак, но вынужден был бросить добычу на полпути.

Под брюхом транспорта начали рваться-лопаться понтонные полотенца, на которых он висел.

Минуту или две «Алкао-Кадет» полусонно чесал в затылке, затем вздохнул и нормально булькнул обратно в могилу, оставив за собой такую бурунную воронку, что в нее затянуло рабочую шлюпку. А звук австралийский транспорт издал пострашнее и, уж во всяком случае, погромче того, с которым сыпется земля на гробы братских сухопутных могил.

Еще минут тридцать над затонувшим гигантом вылетали из воды четырехсоттонные понтоны, наполненные воздухом. К счастью, ни один из них не вмазал в днище нашего корабля. Если бы такое произошло, то поднимать с грунта возле мыса Мишуков пришлось бы уже два парохода.

Когда все утихло, я занялся разборкой, как говорят в романах, «немых свидетелей» жизни и работы австралийских моряков: записные книжки штурманов, карты Ямайки и «рапорты об атаках за июль 1942 года».

Потом разложил свою бумажную добычу сохнуть на световом люке машинного отделения, нимало не заботясь о том, что ее кто-нибудь сопрет: кому нужны мокрые, грязные, в ржавчине бумажки? Да еще на английском языке! Я-то в те времена пытался его учить, и любопытные австралийские документы могли бы стимулировать усидчивость.

Но вышло вовсе нелепо и неожиданно. Бумажки попали на глаза одному бдительному товарищу. На «рапортах об атаках» он обнаружил английское слово «секретери». Меня кое-куда вызвали и дали такую взбучку, что до сих пор икается. Оказывается, я должен был все эти документы немедленно сдать в соответствующий отдел.

Среди десятилетней давности австралийских секретов бдительные товарищи обнаружили и бумажку с русским текстом, которая принадлежала лично мне и попала туда случайно. Вот ее текст: «Только рабство создало возможность более широкого разделения труда между земледелием и промышленностью. Благодаря рабству произошел расцвет древнегреческого мира, без рабства не было бы греческого государства, греческого искусства и науки; без рабства не было бы и Рима. А без основания, заложенного Грецией и Римом, не было бы также и современной Европы. В этом смысле мы имеем право сказать, что без античного рабства не было бы и современного социализма».

Такой текст показался некоторым начальникам подозрительно-загадочным. Пришлось долго доказывать, что автор не я, а Фридрих Энгельс. Такие уж были времена и нравы, что интерес офицера к произведениям классиков, мягко говоря, не поощрялся.

Вот и решил, что лучше будет, если я сменю скатерть, то есть сменю место службы с европейского Севера на азиатскую Камчатку.

За обращение с письмом к высокому начальству не по команде я получил добавочную взбучку от командира корабля капитана 3 ранга Зосимы Семёновича Рашева и продолжал тянуть лямку на вторичном подъеме «Алкао-Кадет».

Однако ничего на этом свете не проходит бесследно.

26 июня 1953 года меня катером сняли с корабля и привезли в штаб части, где я получил командировочное предписание:

«УПРАВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СЕВЕРНОГО ФЛОТА. 30 ИЮНЯ 1953 г. С получением сего предлагаю Вам отправиться в г. Энск

для выполнения специального задания в распоряжение кап. 1 ранга Рабиновича Я. Б. Срок командировки 01 дней, с 30 июня по 01 июля 1953 г. Об отбытии донести. Основание: мое распоряжение. Для проезда выданы требования на перевозку, за № ф. 1, № 142 002. Начальник АСС СФ кап. 1 ранга Блинов».

Блинов мне нравился, и, кажется, я ему тоже. Сейчас вспоминаю, как он пришел ко мне в каюту, – капитан 1 ранга, аварийно-спасательный цезарь и падишах. И вот этот падишах заглянул в каюту к мальчишке-лейтенанту, чтобы поинтересоваться, как я себя чувствую в самостоятельной роли на корабле после училища и не слишком ли мне грустно.

Вроде бы мелочь, а не забывается.

Блинов сделал тогда замечание. Вернее, дал дружеский совет. Я был назначен на «Вайгач» временно – на один месяц, ибо вообще-то был утвержден на другой корабль, который находился в море на спасении. И потому в каюте, куда поселился, никакого уюта наводить не стал.

– Почему, лейтенант, у вас нет на столе фотографий? – спросил Блинов. – Где фото вашей девушки или если ее нет, то мамы?

Я объяснил, что нахожусь здесь временно.

А он объяснил мне, что моряк должен быть дома в любой каюте и на любом корабле, ибо каюта офицера это не казарма, где люди отслуживают свой срок. И каюту следует обживать сразу, тем более что собрать в нужный момент чемодан – дело нехитрое.

И этому правилу я следовал потом неукоснительно.

За одним исключением: фотографию любимой девушки никогда не ставил на стол и не вешал на переборку. Не хотелось, чтобы ее кто-нибудь посторонний разглядывал. Ну, а мама терпеть не могла фотографироваться и никогда фотографий не дарила. Она вручила мне – офицеру и члену партии – миниатюрную иконку покровителя всех моряков Николы Чудотворца. И наказала никогда с ней в морях не расставаться. И нынче эта иконка плавает со мной, хотя и побаиваешься то бдительного таможенника, а то и собственного первого помощника.

30 июня 1953 года я убыл для выполнения специального задания бесплацкартным вагоном из Мурманска, имея с собой портфель, в котором был бритвенный прибор, пара белья и подшивка старых «Огоньков», украденных с какого-то катера. Убыл, одетый во все летнее, без продаттестата, без денежного аттестата, без шинели, не сдав никому дела, имущество и обязанности.

Анекдотический срок выполнения специального задания – одни сутки – объяснялся тем, что на месте мне следовало сразу же явиться на некий спасатель (эти суденышки в дальнейшем я буду обозначать «СС» – спасательные суда. На чем только военным морякам в те послевоенные годы не приходилось плавать! – В.К.), заступить в должность штурмана и перегнать корабль вокруг Кольского полуострова в родные пенаты. А командировочные деньги флотскому офицеру полагаются только за время пребывания на суше.

Со мной вместе ехал капитан-лейтенант, старше меня всего года на два, шатен с густой шевелюрой, высокого роста, жилистый и подвижный, глаза стальные, в правом на радужной оболочке – кусочек черного. Раньше я с ним никогда не встречался.

Когда оформляли документы, капитан-лейтенант вызываясь безмятежно напевал лихую песенку американских моряков с союзных конвоев:

Вызвал Джеймса адмирал,  
Джеймс Кеннеди!  
Вы не трус, как я слышал,  
Джеймс Кеннеди!  
Ценный груз доверен вам,  
Джеймс Кеннеди!

В СССР свезти друзьям,  
Джеймс Кеннеди...

На тот момент отношения с бывшими союзниками очередной раз были аховыми, песенки их были не в моде, и я как-то неуклюже, но все же попробовал намекнуть об этом капитан-лейтенанту.

– Эту бравую песню написал Соломон Фогельсон, – сказал капитан-лейтенант. – Он еще автор стихов для музыкальной комедии советского композитора Соловьева-Седого «Подвески королевы». Теперь ты успокоился?

Я успокоился, но выпучил глаза, ибо мы десять лет распевали эту песню, твердо веруя в ее американское происхождение.

Вещей у капитан-лейтенанта было побольше, чем у меня: и чемодан, и шинель, а в кармане шинели затрепанный соблазнительный томик с «ятями».

Мы сидели друг против друга на жестких полках, поезд уносил в глубины Кольского полуострова, и надо было знакомиться. Для затравки я спросил у капитан-лейтенанта про старинную книжку в кармане его шинели. Обратился, конечно, на «вы» и, кажется, даже начав с уставного: «Разрешите обратиться, товарищ капитан-лейтенант?»

– Брось, зови меня Колей. Можешь даже на «ты». Фамилию запомнишь сразу: Дударкин-Крылов. Я правнук дедушки Крылова. Про лебедя, рака и щуку еще не забыл на службе? Прабабушка служила у баснописца кухаркой, а старик любил пошалить между баснями, – и капитан-лейтенант залился в приступе почти беззвучного смеха. А передохнув, закончил: – Пушкина-то хоть знаешь, лейтенант? «Собравшись в дорогу, вместо пирогов и телятины я хотел запастись книгой...» – и опять беззвучно засмеялся.

Своим тихим и лукавым весельем нравился мне Дударкин-Крылов с каждой минутой больше и больше.

Его книжка оказалась мемуарами графа Витте – довольно странная литература во глубине кольских руд. Каплей (так для экономии звуков на флотах называют капитан-лейтенантов) заметил мой интерес к произведению графа Полусахалинского и подмигнул тем глазом, где была у него черненькая отметина.

– Слушай, лейтенант, сейчас внимательно. С намеком буду говорить. Когда Витте ехал в Америку подписывать мирный договор с японцами, то задержался на денек в Париже. Там в одном кафе-штантане президент Французской республики сказал ему, что России, вероятно, придется выплатить Японии контрибуцию – и в астрономическом масштабе, ибо война проиграна совершенно гениально. Витте хладнокровно ответил, что за все время существования Российской Империя никогда никому контрибуций не платила и платить не будет. На это французский президент заметил, что, к сожалению, бывают мерзкие ситуации, при которых и такое делать приходится. Например, им, французам, пришлось раскошелиться, когда боши подошли к Парижу. «Ну, вот, – ответил Витте, – и мы контрибуцию заплатим, когда самураи подойдут к Москве». Так вот, есть у меня, лейтенант, странное предчувствие, что нам с тобой предстоит пройти тот самый путь, который японцы не прошли. Правда, в обратном направлении.

– В каком году вы окончили училище и какое? – спросил я.

– Еще раз «вы» скажешь – не дам Витте читать. А демократизм мой проистекает из одного сказочного приключения. Назовем его «Золотая Рыбка», а эпитафией возьмем: «Все по благу, все не так, вот где истый кавардак!» Училище закончил в прошлом году, артиллерист.

– И уже капитан-лейтенант?

– Сам до сих пор удивляюсь, – сказал Коля и рассказал следующее, время от времени заливаясь беззвучным хохотом.

Коренной москвич. Первый после училища офицерский отпуск проводил дома в столице. Где-то на Арбате из моряцкой солидарности высвободил из лап сухопутного патруля какого-

то заблудшего старшину второй статьи. Когда опасность для старшины миновала, тот спросил у новоиспеченного офицера фамилию и название флота, на котором Дударкину-Крылову предстояло служить. Затем, вежливо попрощавшись, заблудший старшина второй статьи загадочно сказал: «Дударкин, сегодня ты выпустил на свободу Золотую Рыбку!»

Назначен был правнук кухарки дедушки Крылова на гадчайшую должность – командиром мелкого зенитного подразделения эскадренного миноносца. На военно-морском языке – «командир пульно-вздульной группы»: масса подчиненного личного состава, то есть масса неприятностей за каждого загулявшего на берегу матросика, и никакой реальной возможности эффектно продемонстрировать начальству свои таланты. За полгода получил десяток взысканий. После чего приказом Главкома ему было досрочно присвоено звание старшего лейтенанта. Поудивлялись, пообмывали, начальство продолжало лепить Коле взыскания еще щедрее. А через полгода приходит приказ о присвоении ему звания капитан-лейтенанта, хотя даже должность-то его такому званию не соответствовала. Тут уж не только начальство озадачилось и обозлилось, но и корешки стали отчуждаться – благует парень без стыда и совести. Дударкин и сам не рад, и чувствует себя в ирреальности, от которой с ума сходят: нет у него нигде никакого блата и никакой руки. Бах! Получает письмо, подписанное «Золотая Рыбка». Заблудший старшина пишет из столицы, что, к сожалению, присвоить Коле капитана третьего ранга пока не может, так как это уже старший офицерский состав, а он, старшина, сидит в Москве писарем ВМС на младшем офицерском составе, и вставить фамилию Дударкина в списки очередного представления пока невозможно; но не все потеряно; и когда его, старшину, переведут за хорошую службу на старший офицерский состав, то он обещает довести Дударкина до капитана первого ранга за оптимально минимальный срок.

Приказы Главкома, как известно, не обсуждаются, исполняются беспрекословно, точно и в срок. И Дударкину подыскали должность, соответствующую званию.

– Отправили меня на «бессрочное исправление», как выразился кадровик, – сквозь беззвучный смех и посверливая меня не улыбающимися стальными глазами, продолжал каплей рассказывать, – на плавбазу «Тютюнк» издания одна тысяча девятьсот пятого года, знаешь такую?

– Нет, – сказал я, ибо на Северном флоте такой плавбазы не было и нет. И, кроме того, я все никак не мог уловить: врет все это каплей или нет. Очень было правдоподобно, но и фантастично.

– Плохо, что не знаешь, лейтенант! Знаменитая база. Она простояла без движения восемь лет. И вот, с величайшими предосторожностями и бесконечными докладами о готовности к любому бою и походу, разрешили нам самостоятельное плавание – пять верст до девиационного полигона. И мы туда дошли! Правда, не обошлось без досадных мелочей. Так, например, у нас вдруг сама собой выпалила сорокапукалка, то есть, как понимаешь, сорокапятимиллиметровая зенитная пушка. Стрельнула она, когда какой-то разгильдяй начал возле нее прикуривать и чиркнул спичку, а боевой патрон в пушчонке, оказывается, оставался еще со времен Отечественной – забыли его тогда обратно вытащить. От удивления, что наша зачехленная уже восемь мирных лет сорокапукалка вдруг взяла да и выпалила по береговому посту СНИС, где вахтенные сигнальщики играли в козла, мы, командиры, немного растерялись, и дальше плавбаза начала действовать самостоятельно. Врубила полный ход и понеслась с девиационного полигона в Баренцево море. Когда мы проносились мимо навигационного буйа, командир Гришка Бубенец наконец пришел в себя и молодецки скомандовал, чтобы буй зацепить и стать на него, как на рейдовую якорную бочку. Плавбаза зацепила буй и потащила его за шею, как гуся с колхозного рынка. В этот момент из океанского плавания вернулся крейсер, на борту которого находился комфлота. Вот эта встреча нам была уже совершенно лишней. В результате я и еду с тобой на какие-то диковинные плавсредства в порт Энск.



Дальше рассказывать Коля не смог, так как впал в очередной припадок беззвучного хохота, показав тем самым, что не является настоящим юмористом. Ибо последние, как широко известно, никогда над смешным не смеются, а, как правило, плачут.

– У тебя жена есть? – поинтересовался я.

– А! Тебя небось первая любовь мучает и лирика типа:

Лейтенант молодой и красивый  
Край родной на заре покидал,  
Были волны спокойны в заливе,  
И над морем луч солнца сиял...

Такая лирика меня мучила, но я не собирался в этом признаваться.

– Лирики впереди не будет. Только если на уровне «Приди, приди, мой милый, с дубовой, пробивною силой». А жена есть, люблю ее. Сыну четыре с половиной. Как-то заболел, подлец, и говорит мне: «Ты у нас балаболка». А потом: «Я устал от тебя жить!» Женился еще на третьем курсе. А после того как мы на «Тютюнке» чуть не гробанулись, супруга ужасно испугалась, что без алиментов останется. И теперь, кажется, меня тоже полюбила. Ученая, работает в почтовом ящике. После многолетних исследований они открыли воду в арбузе. Но оказывается, вода бывает сорока разных видов. И Сталинскую премию им пока придержали. Сейчас супруга уточняет, какая именно вода в арбузе. А должность мою на отряде назовем для темноты так: «Военный советник». Теперь, если тебе, лейтенант, про меня все ясно, давай спать.

Ранним дождливым утром мы высадились на безлюдной станции Энской и зашлепали по грязи искать свои кораблики.

Стояли они тесной грудой в глухом уголке порта.

Шесть новеньких «СС», которых пригнали сюда с Балтики Беломоро-Балтийским каналом. Я пошел на № 4138, а правнук дедушки Крылова – на № 4139.

У трапа вахтенного не было. Я поднялся на палубу, прошел в надстройку и несколько раз крикнул: «Ау! Ау! Ау!» «Никто не откликнулся. Я поблагодарил бога за то, что знаю расположение судовых помещений, ибо именно подобный кораблик мы спасали полгода назад и я нормально на нем тонул, вцепившись в бортовой отличительный огонь.

Дверь командирской каюты была заперта. Я постучал. В двери щелкнул замок, потом она распахнулась, и на пороге возник мужчина в нижнем белье, с пистолетом «ТТ» в руке. Это оказался капитан-лейтенант Мерцалов, с которым мы были шапочно знакомы по совместной службе в отдельном дивизионе Аварийно-спасательной службы.

Я доложил, что назначен на «СС-4138» штурманом.

– Вам в предписании к кому приказано явиться? – спросил командир, пряча пистолет под подушку.

– К капитану первого ранга флаг-штурману Рабиновичу, товарищ командир!

– Вот к Рабиновичу и являйся, а потом стань на вахту к трапу, а то временные экипажи уехали, и я здесь один кукую. Какая-то сволочь уже пожарную лопату сперла.

Якова Борисовича Рабиновича, который в данный момент (1986 г. – В.К.) проживает в Ленинграде, руководит Обществом книголюбов, является владельцем лучшей в СССР личной морской библиотеки и всегда готов подтвердить каждое слово в этом рассказе, я нашел на флагманской «СС-4132».

Никогда и нигде больше не встречал флотского офицера с такой шикарной, адмиральской макаровской бородой. Нервно дернув себя за адмиральскую бороду, флаг-штурман спросил:

– Лейтенант, вы на своем корабле уже были?

– Так точно, был.

– Ну и, гм... как там Мерцалов? В полную сиську?

– Никак нет, товарищ капитан первого ранга! Как стеклышко! Только на борту нет ни одного матроса, и потому одну пожарную лопату уже украли!

– Вы здесь плавали, лейтенант? – поинтересовался каперанг.

– Никак нет. Первый раз увижу Белое море и Онежский залив!

– Гм, – сказал Рабинович и задумался, посасывая клочок своей адмиральской бороды. – Но на спасении рыболовного траулера «Пикша» в Кильдинской салме это вы были в должности штурмана?

– Так точно!

– Ну, я вас помню, помню еще на аварийной барже, когда она пыхнула голубым дымком...

Это могло быть?

– Так точно!

Рабинович решительно выплюнул кончик бороды и сказал:

– Отправляйтесь на свой корабль. И постарайтесь ничему из того, что с вами может в ближайшем будущем случиться, не удивляться. Можете идти!

В малюсенькой, с иллюминатором над самой водой, темной и сырой каютке штурмана на «СС-4138» я, свято исполняя приказ-совет начальника АСС Блинова, сразу навел марафет и уют, повесив над столом вырванную из старого «Огонька» «Данаю» Рембрандта. Затем перешвырял в иллюминатор, в близкую воду, пустые лимонадные бутылки, оставшиеся от предыдущего хозяина каюты. Забортная вода была так близко, что бутылки не плюхали.

Через час пришел Коля Дударкин и сквозь беззвучный смех сообщил, что я уже не штурман, а помощник командира «СС-4138».

Я ему не поверил и пошел к Мерцалову. Тот прорычал, что это действительно факт, а не реклама.

Я взял портфель с бритвенным прибором, парой белья и зубной щеткой и перебрался в каюту помощника, которая была расположена выше и выглядела повеселее. Там, свято исполняя приказ-наказ Блинова, навел уют, повесив над койкой «Маху раздетую» Гойи и перекидав за борт энное количество пустых бутылок из-под боржоми. Бутылки плюхали в мутную воду довольно гулко. Я добавил к ним целый ящик каких-то лекарств, которые оставались от бывшего хозяина, и задумался о том, что следует делать помощнику командира, если никакого экипажа на корабле нет?

Камбуз, естественно, тоже не работал, а жрать хотелось уже ужасно. Когда хочется жрать, лучший выход спать. И я прилег на койку, любясь на «Маху раздетую».

Через часок опять пришел Дударкин-Крылов и под большим секретом сообщил, что поплывем мы вовсе не в Мурманск, а в Порт-Артур и вернемся к родным пенатам не раньше, нежели через несколько месяцев, если вообще вернемся: есть слухок, что всех нас оставят служить на Дальнем Востоке. Пока я пытался осмыслить услышанное, Коля добавил, что пришел приказ о назначении меня уже старшим помощником командира «СС-4138».

– Ты меня, подлец, начинаешь догонять: я до старпома год лез! – заметил Дударкин-Крылов.

И я понял, что, несмотря на смешки, говорит он и на сей раз правду.

И, свято исполняя приказ-наказ капитана I ранга Блинова, перебрался в каюту старпома, где навел уют, повесив на переборке «Бой при Синопе» Айвазовского и выбросив в иллюминатор энное количество пустых бутылок из-под кефира. Звук от их падения в каюту старпома уже почти не было слышно.

Коля оставил мне мемуары Витте, банку тресковой печени, пачку печенья и ушел. (По приказу ВМС № 58 от 30 июня 1949 года офицеры на Севере получали ежемесячно допнаек: 1200 граммов сливочного масла, 600 граммов печенья и 300 граммов рыбных консервов.)

Ночь я спал беспокойно.

Утром вызвал командир. Лик у Мерцалова тоже был утомленный. Командир сказал, что видел разные там Порт-Артуры и Дальние Востоки в гробу, что он не мальчишка, что у него трехстороннее воспаление легких, что он не такой дурак, как кое-кто в кадрах думает, что он выезжает в Североморск в Штаб флота, а пока есть приказ мне принять от него командование.

И я поставил автограф на следующем уникальном документе, копия которого сейчас перед моими глазами:

«02 ИЮЛЯ 1953 ГОДА. ПОРТ ЭНСК

АКТ

Нижеподписавшийся командир «СС-4138» капитан-лейтенант Мерцалов В. Н. по приказанию нач-ка АСС СФ капитана I ранга Блинова сдал корабль лейтенанту Конецкому В. В.

Техническое состояние корабля хорошее. С кораблем сдано все полностью имущество согласно ведомостей снабжения и приемочного акта от 14.06.1953 г. от перегонной команды, за исключением пожарной лопаты.

Шхиперское имущество, полученное в Ленинграде, на корабле полностью. Акт от 29.06.53 г. № 155 с картами и книгами тоже сдан.

Сдал: кап.-л-т Мерцалов.

Принял: л-т Конецкий».

Сочинял всю эту чушь я, а не Мерцалов, ибо по причине трехстороннего воспаления легких он был в таком состоянии, что и расписался-то с трудом.

Но вот не помню: упомянул ли я пожарную лопату со скрытым черным юмором или на полном серьезе? Кажется, без всякого юмора. Когда принимаешь на лейтенантские плечи корабль водоизмещением 318 тонн, длиной 38 метров, мощность двигателя 400 сил, средняя осадка 2,5 метра, ширина 5 метров, скорость на полном ходу 10,5 узла, и когда ты до этого командовал лишь шестивесельными шлюпками, то юмор улетучивается.

Мерцалов тщательно спрятал во внутренний карман кителя акт с моим автографом и ушел на поезд.

Я перебрался в каюту командира и, тщательно исполняя приказ-наказ... ничего я исполнять не стал. Командирская каюта и так была шикарная – шагов десять по диагонали, ковер! Полог на койке! Шторы из темно-вишневого панбархата!

## 2

*Вся наша искпедиция  
Весь день бродила по лесу.  
Искала искпедиция  
Везде дорогу к полюсу.*  
**Винни-Пух**

На спасатель с полдороги был возвращен балтийский экипаж, который перегонял корабль в Энск. С одной стороны, это было мое счастье и спасение – офицеры, матросы, мотористы уже знали корабль. С другой стороны, эти люди были обозлены донельзя: вместо питерских и кронштадтских родных квартир им предстояло идти на Дальний Восток. К тому же все офицеры были старше меня, командира, по званию. Старпом был старшим лейтенантом, а механик даже инженер-капитаном третьего ранга.

Вечером флагман великой армады капитан второго ранга Морянцева, мужчина маленький, но решительный, собрал комсостав на совещание.

Этакий своеобразный совет в Филях.

Морянцева объявил, что на подготовку к выходу в море нам дается десять часов. В 07.00 третьего июля мы снимаемся на Архангельск, где будет происходить дальнейшая подготовка к переходу через Арктику на ТОФ. Всякая связь с берегом прекращается. За употребление на корабле спиртных напитков – трибунал. Командиры кораблей сейчас же получают личное оружие. Никаких писем домой о нашем маршруте быть не должно.

На кителе Морянцева были колодки боевых орденов во вполне достаточном количестве.

Решительность командира – великолепная штука. Сразу сжались кулаки и челюсти – раз такое дело, пройдем и Арктику, и Тихий океан!

– Вам, лейтенант Конецкий, обеспечивающим назначаю капитан-лейтенанта Дударкина-Крылова. До Архангельска вы пойдете головными. Одновременно, по представлению капитана первого ранга Рабиновича, ваш корабль назначается настоящим аварийно-спасательным на время всего перехода на Дальний Восток.

Я получил тяжеленный «ТТ» с полной обоймой патронов, расписался за него, затянул пояс потуже и почувствовал себя Нельсоном перед Трафальгаром. Коля засунул пистолет в чемоданчик. И мы с ним вышли в белые сумерки северной ночи.

На причале поджидал флаг-штурман Рабинович.

– Гм, Виктор Викторович, – сказал Яков Борисович и зачем-то надел очки. Может быть, затем, чтобы я лучше видел его насмешливые глаза. – Какие у вас есть поручения в штаб АСС?

Я попросил ускорить высылку продовольственного и денежного аттестатов.

– Обязательно, – пообещал Яков Борисович, наматывая на указательный палец клок макаровой бороды. – Счастливого плавания, товарищи офицеры. В душе я вам завидую. И вашей молодости, и предстоящему вам делу.

Замечательный миг моей жизни. В душе, сердце и печенке все пело:

Лейтенант, не забудь,  
Уходя в дальний путь,  
По морям проплывая вперед...

Дударкин шагал рядом довольно угрюмо. Наконец сказал:

– Слушай, ты, конечно, свершил карьеру, которая даже мне не снилась, но...

– И без всяких Золотых Рыбок, Коля! – не удержался я.

– Между нами, девочками, Витя, у этих корабликов обшивка толщиной в ноготь, а к арктическим льдам они имеют такое же отношение, как я к турецкому султану, – заметил Дударкин.

Какая мелочь! Я не испытывал никаких страхов, готов был схватить за шкуру Полярную звезду и перекинуть ее из Малой Медведицы в Южный Крест.

– Мне не нравится твое жеребячье настроение. Морянцев, конечно, боевой мужик, но неужели ты не понимаешь, зачем и почему он поставил тебя головным на переходе в Архангельск?

– Ну, поставил и поставил...

Он объездил заморские страны,  
Совершая свой дальний поход,  
Переплыл все моря-океаны,  
Видел пальмы и северный лед...

– Вся армада – балтийцы, а мы – североморцы. Только ты и я – североморцы. Балтфлот списал сюда тех, от кого желал избавиться. Они все обозлены перспективой службы на ДВК.

– Ну и черт с ними!..

И не раз он у женщин прелестных  
Мог остаться навеки в плену,  
Но шептал ему голос невесты...

– На наших лайбах допотопные механические лаги да паршивые магнитные компасы – и это все, Витенька. А здесь и летом такие туманы, что их ножом режь. Если мы, головные, обыкновенно и нормально подсядем на какую-нибудь баночку, то следующие за нами в кильватер brave балтийцы на меляку уже не сядут. Товарищ Морянцев шлепнет якорь и будет смотреть интересное кино: как твой «СС-4138» сидит на меляке и какие действия предпринимает во спасение... И вообще, понимаешь ли, кто толком не знает, в какую гавань плывет, для того и нет попутного ветра. Эту сентенцию не я изрек. Это изрек Сенека. Когда я своими словами пересказал древнего философа Морянцеву, он так обозлился, что откусил мне пуговицу на мундире. Учись, молодой и красивый лейтенант, в некоторых случаях любить ближнего, только пока он далеко...

Конечно, все это не дословно, но холодок ледяного душа, пролившегося тогда на мою восторженную душу, и сейчас ощущаю.

Есть азбучная истина: пока ты какой-то там помощник командира, собственный корабль кажется тебе маленьким, прямо-таки ничтожно маленьким по сравнению с разными там лайнерами или танкерами и ты за него, малютку, стесняешься. Но как только вознесло на мостик в роли командира, так сразу замухрышка роковым образом начинает увеличиваться в размерах. И у тебя руки дрожат со страху, и ты абсолютно не можешь понять, как это раньше твой гигант умещался у развалюхи причальчика?

Мне было двадцать четыре года и двадцать восемь дней, когда я поднялся в рубку и кораблик под моими ногами стремительно начал удлиняться и расширяться – точь-в-точь дирижабль, который надувают газом на стапеле. Но, к сожалению, взлететь кораблик никуда не мог – он был рожден плавать, а не летать.

В глазах у меня десятирилось, и – ужас какой! – я осип. Надо: «Отдать кормовые!», а я хриплю: «О-о-о!..ые!»

– Эй, пираты! – заорал правнук кухарки дедушки Крылова. – Слушайте сюда! Отходим на носовом шпринге! Отдать кормовые! А вы, товарищ командир, будьте любезны, если вас,

конечно, не затруднит, пихните, когда доложат, что корма чиста, вот эту штучку на самый малый вперед! Штучка, кстати говоря, рукояткой машинного телеграфа называется – это-то вы еще не позабыли?.. Право на борт! Товарищ командир, если вас не затруднит, поставьте ручечку обратно на стоп, а теперь чуток назад ее пихните! Так! Очень хорошо, ребята! Отдать носовой! Товарищ командир! Разрешите доложить, что мы на данный момент куда-то поехали, но не забывайте, пожалуйста, что мы пока задним ходом едем... Стоп машина! Малый вперед! Цель в дырку из бухточки!

И мы поплыли.

Никаких вам гирокомпасов, радиопеленгаторов, радаров. Никаких прогнозов погоды на факсимильных картах. Ну, и, кроме Луны, тогда у Земли еще не было никаких других навигационных спутников.

Только мы вышли в залив, как флагман Морянцева вызвал меня по УКВ и сообщил, что у них на борту лишний матрос, и матрос этот принадлежит мне, и потому надо всем лечь в дрейф, а я должен подойти к нему, Морянцеву, и забрать этого чертового матроса к едрене фене. Фамилия матроса была Мухуддинов. Он был знатный чабан где-то в альпийских лугах, имел орден Красного Знамени за трудовую доблесть и смертельно ссорился с боцманом Чувиным В. Д., который недвусмысленно пообещал спихнуть знаменитого чабана за борт, как только мы окажемся на достаточно глубоком месте. Такая перспектива Мухуддинова не устраивала, и он с моего судна удрал на флагманское.

Естественно, Морянцева еще поинтересовался тем, как, почему и каким образом я умудрился не проверить перед выходом в море наличие на борту экипажа.

– Давай, Витя, швартуйся к нему сам, – сказал Коля. – Начинать привыкать.

Итак, первая в жизни швартовка. И не к причалу, а к другому кораблю на открытой воде. Правда, штиль был мертвый, но все равно другой корабль – это вам не твердый неподвижный причал. И я крепко поцеловал Морянцева левой скулой в правую.

– Без тебя, Витька, я умру, а с тобой тем более! – одобрил маневр Коля, покатываясь в очередном приступе беззвучного смеха.

Знаменитого чабана перекинули к нам на борт, и я довольно удачно отскочил от Морянцева полным задним...

Белая ночь – будь она трижды неладна! В белые ночи маяки не горят, и опознать их по световым характеристикам: проблесковый, группо-проблесковый и так далее – нет возможности. Надо маяки знать визуально или сравнивать натуру с рисунком лоции, а ракурс лоцманских изображений вечно не тот...

О! Сколько пота я стянул со лба в эти белые волны! И как занятно сейчас – пожилому и умудренному – рассматривать «Записную книжку штурмана» тех времен, которую я вел согласно правилам штурманской службы, но не совсем по правилам.

На первом развороте:

«Строй кильватера, дистанция между кораблями 2 кабельтова».

«Обязательно прочитайте „Огни“ Чехова, 1888 г.».

«Веер перистых облаков и усиление зыби указывают на приближение шторма».

«В Тихом океане странная медно-красная окраска неба после заката и увеличивающаяся продолжительность сумерек – признак урагана».

«У Жижгинского маяка могут встретиться плоты в большом количестве – обязательно выставить впередсмотрящего».

«Рандеву, если все растеряются в тумане, – Куйский рейд».

На следующей странице, сразу после строгих «ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ ШТУРМАНА», где указано: «З. К. Ш. является официальным служебным документом, по которому можно в любой момент проверить, откуда получены данные, послужив-

шие для тех или иных расчетов», – следует такая моя официальная запись: «Лицо – серое, как истрепанная обложка книги. В конце рассказа он напьется».

Дальше идут уже серьезные расчеты.

До Архангельска доплыли нормально и отшвартовались в Соломбале.

«Соломбала, 15.07.1953 г. Здорово, дорогие ребятки! Я все-таки гремлю в направлении Камчатки. Ледовые прогнозы хорошие. Вообще настроение бодрое, но отсутствие шинели и кальсон немного угнетает мой флотский дух.

Сейчас принимаем на пароход годовые запасы продуктов и пр. Бедлам грандиозный...

Что умоляю сделать? В мой майдан уложить вещи, перечисленные на обороте. Майдан зачехлить, отвезти на вокзал и сдать проводнице какого-нибудь поезда, который идет из Мурманска в Архангельск. Проводнице объяснить, что по прибытии я ее встречу и она получит семьдесят пять рублей за перевозку чемодана и шинели. Фамилию и номер проводницы записать – для устрашения.

Ребятки, сделайте это в день получения письма! Иначе мне хана.

Перечень шмоток: логарифмическая линейка (в центральном ящике каютного стола), справочники штурмана малого плавания, стаканчик для бритья, «Этюды по западному искусству» Алпатова и свисток (обязательно!). Он висит на иллюминаторе за занавеской. Все остальное барахло, особенно: кортик, облигации, оружейную карточку, книги – уложите в ящике над моей койкой и закройте на ключ. Пакет с тетрадями и письмами заверните получше и тоже уберите куда-нибудь подальше от глаз начальства.

Сообщите, пожалуйста, за кем числятся мои альпаковые штаны, канадка и сапоги. Не помню, за кораблем они или за мной? Свитер, который входит в этот спасательный комплект, будет возвращен, если я сам когда-нибудь вернусь.

Привет командиру, всем нашим матросикам. Спасайте меня, SOS! Жду телеграмму о высылке вещей.

Виктор».

«Уважаемая Любовь Дмитриевна! Здравствуйте!

Насчет Вашего сына могу сообщить, что в июле он находился в Архангельске. Дальнейшее пребывание его пока неизвестно. Куда, зачем, на чем он пойдет, тоже неизвестно. Если что узнаю, обязательно сообщу. Вы не беспокойтесь, все будет хорошо, и в конце 1953 года он будет у вас дома.

ВРИО командира в/ч. Ст. л-т Басаргин».

Не думаю, чтобы это письмо сильно вдохновило мать и улучшило ее настроение, ибо как раз в те времена выяснилось, что комната, в которой я проживал в Ленинграде, оказывается, нам не принадлежит и ее изымают, ибо с апреля 1942 года (момента эвакуации из блокадного Ленинграда) я нигде никогда не был прописан.

«15 июля 1953 г. Порт Архангельск

АКТ

Сего числа нами: капитаном-наставником Арктического пароходства капитаном Северного Мор. Пути 2 ранга Панфиловым, штурманом экспедиции капитаном 3 класса Мироновым, начальником Военно-Морской инспекции капитаном 3 ранга Терезниковым произведен осмотр кораблей отряда на предмет их перехода в Арктику.

Комиссия считает необходимым произвести следующие работы для обеспечения перехода: 1. На всех единицах изготовить и завести носовые браги из стального троса. 2. На аварийно-спасательном судне № 4138 (мое!! – В. К.) иметь стальной буксирный трос длиной 250-300 метров, заведенный через траловые роульсы на лебедку. 3. Произвести корпусные работы по заварке иллюминаторов ниже главной палубы...»

Старомодность ощущаете? Давным-давно уже нет никаких «Капитанов Сев. Мор. Пути 2 ранга», нет и «Капитанов 3 класса».



Арктика только осталась прежней.

И вот я крутился среди браг, буксирных тросов и сварщиков, ибо командовал аварийно-спасательным кораблем! И гордыня распирала меня, и я сворачивал горы. Игра стоила свеч!

Горы я сворачивал до 28 июля – черный день, в который на корабль прибыл капитан 3 ранга Кравец с приказанием мне сдать, а ему принять «СС-4138». Таким образом, я сваливался обратно в замухристые штурмана. (Кравца выкопали аж на Черноморском флоте. Это был унылый тип с душой из растопыренных пальцев и солидным брюшком. И с этим типом мне пришлось идти первый раз в жизни в Арктику.) В тот же черный день убывал из отряда капитан-лейтенант Дударкин-Крылов Н. Д. Он летел в Порт-Артур для подготовки там нашей встречи.

Два удара одновременно – какое зияющее сиротство!

На прощание он подарил мне книжку Витте, и мы обнялись за штабелем соломбальских досок, и я сказал Коле, что полюбил его как брата.

– А я тебя обожаю, как ласточку, улетающую осенью! – заверил меня правнук кухарки дедушки Крылова.

В Порт-Артур мы не дошли – сдали корабль во Владивостоке.

Последующие два года меня так швыряло на пространствах от Дальнего Востока до Северного моря и от Северного моря до Петропавловска-на-Камчатке, что книжку Витте я, конечно, потерял. Однако фантастические секретные рапорты на мое имя Коли Дударкина сохранились.

«С о в. с е к р е т н о

Бывшему командиру «СС-4138»

лейтенанту Конецкому В. В.

Капитан-лейтенанта Дударкина Н. Д.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

Настоящим доношу до Вашего сведения, что секундомер 1931 года выпуска № 11 522 475 бис 4 потерял способность использоваться по назначению.

28 июля 1953 года стоявшим на вахте мною, капитан-лейтенантом Дударкиным, было совершено действие, повлекшее к непреднамеренной утрате секундомера № 11 522 475 бис 4. Дата последней проверки – май 1936 года. Суточный ход секундомера – в соответствии с амплитудой килевой качки.

В 14 часов 00 минут местного времени я навел цейсовский бинокль на стоявших на причале в порту Архангельск женщин приблизительно 1930 года рождения. Одна была ничего, но, показывая в сторону нашего корабля тупым предметом, нецензурно смеялась. Возмущенный таким ее поведением и длительным воздержанием, уже будучи на боевой службе в море в течение четырех дней, я совершил резкое движение вместе с биноклем, которое и привело к выпадению из кительного кармана измерительного прибора, который упал за борт, но в двух метрах от воды остановился, так как был мною привязан к шнурку, что согласовано с приказом начальника ГО СССР.

Между прочим, бинокль тоже упал за борт и утонул, но, поскольку он за кораблем не числится, списанию не подлежит. Попытка же извлечь секундомер за веревочку из-за борта не удалась, так как за него ухватился прыгнувший за биноклем матрос Курва Ф. Ф. и неумышленно оборвал его. Это привело к еще большему наклону моего тела, и из него (из кителя) в воду выпало:

1. Грузиков для карт – 08 штук.
2. Транспортников – 02 штуки.
3. Звездный глобус.

Все это имущество я держал при себе, так как в сумку вахтенного офицера оно уже не влезало.

Спасая матроса Курву Ф. Ф., за борт пытался броситься боцман, старшина I статьи Чувилин В. Д. и при этом сбил проходившего мимо с пробой обеда матроса Мухуддинова. С подноса Мухуддинова за борт упало:

1. Чайный сервиз.
2. Вина тарного – 14 бутылок.
3. Столовая мелочь – 08 наименований.

Вся команда, сгрудившись на борту, создала опасный крен, что отрицательно повлияло на запасную мотопомпу. Мотопомпа сломала бак с десятью килограммами спирта-ректификата. От спирта, попавшего в ЗИП, вышли из строя:

1. Молотки разные – 25 штук.
2. Кусачки-бородавки – 08 штук.

Часы морские в металлическом корпусе упали на морские карты, и все это высыпалось на палубу и далее в ватервейс.

Судьба всех предметов аналогична судьбе секундомера.

Для спасения матроса Курвы Ф. Ф. за борт было выброшено несколько брезентовых рубах. Плавая на этом номенклатурном гидрографическом имуществе, ввиду отсутствия спасательного круга, матрос Курва Ф. Ф. свою фамилию полностью оправдал и все вещи утопил.

На основании изложенного прошу вышеуказанное имущество списать за государственный счет с лицевого счета нашей воинской части, а на виновных наложить различные взыскания, особенно на Курву Ф. Ф. ...

Счастливого плавания, Витя!»

Вероятно, за всю жизнь Чехов пошутил неудачно единожды. Послал издателю Марксу телеграмму с обещанием прожить не более восьмидесяти лет, а по договору гонорар за новые произведения Чехова постоянно возрастал и через сорок лет должен был составить около 2000 рублей за лист. Посчитав, что при благоприятных условиях писатель может строчить 30-50 листов в год, и помножив 2000 на 50, Маркс откинул лапти в глубоком обмороке. Впоследствии выяснилось, что шок Маркса проистекал из чьих-то нашептываний, что в обычае русских писателей под конец своей деятельности сходить с ума и выпускать «переписку с друзьями» или переделывать Евангелие в таком роде, что цензура может запретить не только поданное произведение, но и самого подавателя.

Если бы не тот факт, что «переписку» издал Гоголь, баловался с Евангелием Толстой, а так опасно пошутил Чехов, то я бы все это дело отнес до себя и стал опасаться за здоровье директора издательства, ибо собираюсь рано или поздно напечатать даже свою переписку с правительством.

Переписывался я с Председателем Совета Министров СССР.

Дело шло о желании демобилизоваться из рядов Военно-Морских Сил. К 1955 году я твердо решил, что никаких войн в ближайшее столетие не ожидается, а тянуть военную лямку под безоблачным, мирным небом – занятие бессмысленное.

И Председатель Совета Министров СССР пошел мне навстречу – приказом министра обороны СССР я был уволен в запас ВМС.

Из этого следует, что уже в возрасте неполных двадцати шести лет я умел глаголом прожигать сердца очень даже высокопоставленных читателей.

## Мемуары военного советника

Все время мучает ощущение, что я ДОЛЖЕН. Что должен, кому – не очень-то ясно, но от этого не легче.

Ну, вот возьмем однокашников по Военно-морскому подготовительному училищу. Кого ни встретишь, обязательно вопрос: почему не написал о Подготи? Встречаешь адмирала: почему не пишешь о военном флоте? Объясняешь, что писать о современном флоте – мука мученическая: замучает спецредактор. Не верят ребята, обижаются: зазнался! оторвался! замкнулся!

А ведь многие из однокашников действительно наделали героических дел и вывели наш военный флот в открытые океаны планеты.

Нижеследующее посвящаю своему первому командиру отделения – старшему матросу Володе Тимашову.

Для нас, салаг, служилые были кошмарным бедствием, ибо законы в училище были законами бурсы.

Володя Тимашов оказался исключением.

Он, например, никогда не щекотал нас засушенной кроличьей лапкой за ухом, когда ты стоишь в строю по команде «смирно» и не имеешь права ни шелохнуться, ни прыснуть, ни прошипеть чего-нибудь.

Засушенной лапкой кролика терроризировал нас старослужащий матрос Володька Желдин. Потом он стал главным тренером сборной СССР по баскетболу. Женской сборной! И я видел его по ТВ, когда наши мастодонтские девицы взяли золото на Московской олимпиаде. Вернее будет сказать не «наши», а Желдина девицы. Он, кстати, у любой из питомиц между ног пройдет, не пригибая головы.

Тренерские и юмористические способности Желдин развивал на нас: «Ты вот! Будешь бегать от меня до следующего столба! И обратно!» Или: «А ты вот! Будешь ползать по-пластунски от забора до обеда!»

Да, куда только не заносит моряков на суше!

Точно замечено, что флот всегда отличался тем, что, будучи невыносим для людей определенного вида, выталкивая их из себя, успевает, однако, дать им нечто такое, что потом помогает людям стать заметными на другом поприще, как бы оно далеко от флота ни отстояло. Ведь дальше женской баскетбольной сборной от флота разве что сайгаки в Каракумах...

Так вот, даже будучи командиром отделения, к которому я имел честь принадлежать, Володя Тимашов подчиненных кроличьей лапкой не щекотал. Потому и захотелось сейчас его вспомнить.

В июне 79-го года для лечения пародонтоза мне назначили курс дыхания кислородом под давлением. Десять сеансов по часу.

Старинные связи привели на кафедру физиологии аварийно-спасательных работ при соответствующей клинике – есть и такое заведение в Ленинграде. Клиника находится в старинном здании, от которого пахнет Петром Великим. Стены толщиной в метр, модели прославившихся в боях кораблей; лекари в больших чинах – из-под халатов прорисовываются погоны, обязательные черные галстуки – и строги до лютости.

Любимой присказкой врача-майора, когда он закручивал винтовой стопор входного люка барокамеры, была:

«Опоздавшим – кость!» Так что являться на процедуру приходилось с временным запахом.

Возле флигеля, где располагалась кафедра физиологии аварийно-спасательных работ, ранним утром клиентов встречали лаем десятка два подопытных собак, которые, как и в кос-

мос, шли в барокамерах первыми в чудовищные глубины океанов. Утром псов выводили из вольеров и привязывали к забору – так сказать, на физзарядку.

Здесь, возле лающих, радующихся утру и цепной прогулке собак, мы перекуривали, хотя, конечно, курить перед кислородным мероприятием запрещено.

Собаки были самые разнообразные – выловленные в городе бродяги. Хотя над ними ставили глубоководные опыты, выглядели псы хорошо, угнетенных среди них не было. И потому лай, и суета, и всякие собачьи безобразия радовали наши души. Привязывали псов с таким расчетом, чтобы они не покусали друг друга, – как на далеком острове Вайгач. И вспоминался Вайгач, и остров Жохова, и пес-аквалангист Анчар, с которым когда-то встречали Новый год у набережной Лейтенанта Шмидта на «Нерее». Анчар сидел на цепи возле барокамеры. Неужели я когда-то был в кабинете капитана Кусто и разглядывал модель «Нерея» на его столе?.. Промелькнувшая жизнь – зияющее прошлое... Вот я и докатился до патетической литературщины: «промелькнувшая жизнь», «зияющее прошлое»!..

Когда вместо шприца, зонда, скальпеля видишь барокамеру, снятую с обыкновенного аварийно-спасательного корабля, то есть сооружение для убеждения водолазов от кессонной болезни, это вызывает положительные эмоции. Некоторые штатские товарищи по первому разу проникают в барокамеру не без опасений. Но я в свое время провел в ней много часов, и многое забытое освежалось в памяти, когда перелезал круглый комингс, усаживался на клеенчатую койку, слышал скрип стопоров входного люка, потом утробный шипящий гул воздуха, накачиваемого в камеру компрессором, и глядел на манометр – дышать кислородом надо под давлением в одну избыточную атмосферу. Когда эта атмосфера накапливалась, снаружи следовала команда майора: «Надеть маски». Конечно, скучно сидеть целый час и ничего не делать – только дышать, глядя, как в такт дыханию опускается и вздувается мешок с кислородом. Но голова свежая, кажется, что с каждым глотком кислорода хвори слабеют и скоро ты станешь пионером или даже октябреньком...

Ну, как вы, вероятно, догадались, здесь я и встретил правнука дедушки Крылова. Но узнали мы друг друга только на третьем сеансе.

Сидит напротив в камере мужчина и умудряется читать книгу, даже имея на физиономии кислородную маску. Я как-то попробовал последовать его примеру, взял с собой чтиво, но ничего не получилось – полутьма, да и стекла у маски мутные.

Заинтересовался мужчиной, спрашиваю: что, мол, вас так увлекает, какой такой детектив?

– Пушкина детектив, – говорит. – Вместо пирогов и телятины. Жевать-то с резиной на морде еще пока не научился.

– Едрить твою мать! – восклицаю российское приветствие, обнаружив еще в его правом глазу черную запятую. – Коля!

А он все меня не узнает – двадцать шесть лет прошло. Тут необходимо еще то объяснить, что военно-морские лекари прописали мне кислород под давлением только после того, как выломали передний зубной мост. И смахивал я на бабушку Ягу, а не на лейтенанта, который, молодой и красивый, край родной на заре покидал.

Ну, а Коля был не амбулаторным, а штатным больным этого заведения – госпитальные штаны короче воробыиного носа, куртка длиннее фрака – знакомая любому нашему страдальцу клоунская больничная униформа.

Принято говорить «седой как лунь». Но, во-первых, я не знаю, что такое «лунь». Во-вторых, от «луни» веет уже настоящей старостью, а нам недавно перевалило за полсотни. В-третьих, Коля имеет хотя и абсолютно седую, но густую и красивую шевелюру.

– Белое море, «СС-4138», мемуары Витте?! Помнишь?

– А, Витек, – говорит он без всякого оживления или видимой радости. – Пойдем в садик, посидим возле морга, там уютное местечко есть – среди старых лип.

– Такая встреча! – говорю. – А ты даже и не удивляешься!

– А чего удивляться? Если бы я тебя в абортарии встретил, то удивился, а тут – полная закономерность, – и наконец-то залился своим беззвучным смехом.

– У тебя что? – спрашиваю, как все больные на свете.

– А, так, пустяки – ИШБ. А у тебя?

– Пасть. Пovyпадали зубки.

– Ну, здесь тебе живенько вшибут новые на старые места по штатному расписанию, если, конечно, блат есть. Читал я твои писания, читал, прости, только все это душистая вода, легкий аромат с модной яблочной нотой или мыло туалетное ГОСТ восемнадцать дробь триста двадцать шесть дробь семьдесят восемь, парфюмерно-косметический комбинат «Северное сияние». Пользуешься после бритья «Яблоневым цветом»?

– Нет.

– Шесть рублей жалко? Вот тут и сядем. Куришь?

– «Космос».

– Ну, давай я туда вместе с тобой слетаю. Свои в палате забыл.

Мы присели в прелестном уголке, в глухой пустынности, на каменные ступеньки под доской с пожарным инвентарем. В секторе нашего обзора было шестнадцать лип, их ветви изящно склонялись, напоминая покатостью женские аристократические плечи. Среди клинческих лип рос один дуб. Здесь было так безлюдно, что даже какая-то пчелка жужжала. И порхала над густой травой бабочка-капустница.

– Адмирал? – спросил я.

– Откуда догадался?

– А физиономия у тебя какая-то бабская. Я иногда замечаю, что у некоторых адмиралов часто почему-то так получается. От сидячей жизни, наверное, от малодвижения.

– Ну, движения мне хватало, а контр-адмирала получил при отставке. И ни разу орлов не надевал. Н-да, Витя, великие писали ямбом, хореем, амфибрахией и другими антабусами, а ты для своей белиберды изобрел вовсе новый стиль – гамус.

– Коля, брось ты мои писания. Надоели критики до смерти.

– А если я сам пишу?

– Что? – с ужасом поинтересовался я, ибо отставные флотоводцы заваливают бредовыми мемуарами.

– Мемуары.

– Н-да. Что, делать нечего? Сам-то еще служишь где-нибудь?

– Не служу, и делать, действительно, нечего.

– Ну, если твои мемуары такие же серьезные, как рапорты о пожарной лопате, то дай почитать. Если нет, лучше не надо.

– Увы, Витя, серьезные.

– А хоть помнишь свои двадцать два замечания по пожарной лопате на «СС-4138»?

– Что-то помню.

– Я их сохранил.

– Если будешь публиковать, отметь, что при повторной проверке лопаты мною, отставным контр-адмиралом Дударкиным-Крыловым, было обнаружено еще двадцать два замечания.

– Хорошо, Коля, отмечу.

– Могу подарить еще штук шестнадцать замечаний по дефектам пожарного лома. Этого вот, – он ткнул пальцем в пожарную доску над нами. – Тиснешь в «Труде». А мемуары у меня здесь. Взглянешь?

– О чем хоть они, Коля?

– Об израильско-египетской драке.

– Ты там был?

– Мед-пиво пил.

– Неси, – сказал я. – Только при зрителях, под взглядом живого автора читать не буду. Возьму домой.

Он принес. И с души моей упал камень, ибо было в мемуарах страничек десять.

– В таком случае, адмирал, можешь сидеть здесь и наблюдать за выражением моего лица. Вытерплю, – сказал я. – Но лучше все-таки читай своего Пушкина: про пироги и телятину.

«Первый раз смерть прошла рядом не в море, а на суше, когда он на джипе добирался к месту службы. Машину атаковал истребитель, все выскочили и залегли. И Советник подумал: “Я боевой командир, а лежу вверх задом, уткнув рожу в песок, и боюсь поднять голову. Что получается?”

Он поднял голову и увидел точку над шоссе. Она увеличивалась стремительно и беззвучно. Истребитель опережал грохот своих пушек и пулеметов.

Спутники лежали тоже, уткнувшись лицами в пустыню.

Пустыня перехлестывала кое-где шоссе песочными языками-зализами, как снеговые заструги – гладкие льдины в Арктике. Снаряды дырявили песок и покрытие шоссе. Одиноко торчал на пустынном шоссе джип с распахнутыми дверцами. Всплески разрывов не дошли метров двадцать.

Самолет исчез.

– Кажется, он улетел, – сказал Советник. – И кажется, я все-таки поглядел ему в лоб, ребята.

Спутники зашевелились.

Все были целы.

Песок шуршал тихо, умиротворенно, по-приречному. Вдали просматривалось море. Шоссе было очень черное, шершавое и прямое.

Когда долго нет сильного ветра, песок в пустыне делается коричневатым – обгорает на солнце.

Потом-то он много видел разной смерти. И трупы египетских пехотинцев с касками на лицах. И трупы разведчиков и минеров, которые пошли опознавать тела погибших товарищей. Их обязательно требовалось опознать, потому что семьям погибших полагалась пенсия, а семьям пропавших без вести она не полагалась. И египтяне тщательно опознавали убитых. И на его глазах разведчики сняли каску с головы убитого и взлетели на воздух вместе с трупом. Под каской израильтяне оставили мину-сюрприз. Израильтяне знали, что арабы будут опознавать убитых.

После разведчиков опознавать пошли саперы. Двое саперов, правда, тоже подорвались. Мины были заложены с дьявольской хитростью.

Потом он видел смерть морячков с тральщика, погибших в бурунах среди кораллов, – объединенные акулами тела. На стыке Суэцкого и Акабского заливов акул хватает. Особенно между Курдагой и Шармшейком.

Накануне Советник был на тральщике – принимали задачу. Задача была отработана прилично, на боевых постах был порядок, оружие египтяне держали в хорошем состоянии, и даже в кубриках и галюнах было вполне прилично.

Тральщик дрался до последнего, но его зенитки не доставали четырех тысяч метров, на которых кружили, сменяя друг друга, французские “Миражи” и американские “Скайхоки”. Берег не смог прикрыть тральщика. Корабль продержался около часа. Самолеты атаковали бомбами и “нурсами”, но не очень удачно: корабль даже успел сняться с якоря и пытался маневрировать по маленькой бухточке за островами Гевтон.

Первые месяцы он служил на берегу. Приходилось заниматься малознакомым делом: налаживать круговую оборону базы. Тут оказалось, что никто из египтян толком стрелковым оружием не владеет. Это были матросы с подводных лодок. Позиции вокруг базы считались

десантно-опасными, то есть передним краем. Отводить людей, чтобы отстрелять их на стрельбище, было нельзя. Даже четверть личного состава не имела права покидать окопы. Тогда он придумал поставить мишени прямо перед окопами. Уже через неделю люди стреляли из автоматов Калашникова вполне прилично.

После окончания рабочего дня советники, переводчики и два египтянина – шофер и вестовой – ехали ночевать в гостиницу. Гостиница в мирные времена была предназначена для богатых туристов-молодоженов. Теперь там не жил никто.

Гостиница стояла на берегу моря, которое, как и вечеряющее небо, было синим до терпкости. Один переводчик оказался украинцем, варил борщ из капусты, которую покупали на местном рынке. Потом пили кофе, слушали “Маяк”, затем валились спать, каждый раз ожидая визита неприятельских командос. Советникам не полагалось никакого оружия. Если не считать оружием противогаз и каску. Очень не хотелось угодить в плен прямо из гостиницы для новобрачных. И потом привычному человеку без оружия как-то неприятно и голо.

Скоро обнаружилось, что оба араба – и шофер, и вестовой – ночью из номеров исчезают. Они от греха подальше залезали на крышу гостиницы и прятались там под баками для нагрева солнцем душевой воды. Оружие арабы на крышу не брали. И можно было с чистой совестью укладывать рядом с собой в кровать для новобрачных автоматы. Купили еще ножи. Двери баррикадировали диванами. Джип ставили с тыла под окна. И так спали. Потом наладилась связь с танкистами. Подполковник – отличный парень из Каира – сообщил, что хотя все машины выработали моторесурсы, а ЗИП не подвозят, но два танка в норме. Танкисты обещали, что если случится заваруха, то морячкам надо продержаться час, – а через час танкисты их выручат. Это было приятно знать.

Очень красиво было море и небо из окон гостиницы для новобрачных. Купальни пустые, заброшенные, и прибой на коралловых рифах.

Как-то ему показалось, что снова налет. Вдоль улицы под тенью глинобитных домиков промчался сгусток уплотненного воздуха. Он прижался к ближайшей стенке, подумал, что уже вырабатывается автоматизм реакции. Осторожно выглянул, ожидая грохота разрывов. Но увидел двух лохматых египетских коз. Козы жевали бумажные пакеты из-под апельсинов. Они убежали бы, если бы действительно началась бомбежка. Почудилось. Это просто дохнуло море коротким шквалом, ветряная струя ударила сквозь узкую улочку, заголила редкие пальмы, взметнула редкую шерсть лохматых коз...

И вот потом снилась, уже дома, уже на мирной земле, эта сценка. Опять и опять чудилось приближение “Фантома”, опять и опять он прижимался к теплой, шелушащейся стене египетского домишки, выглядывал из-за угла и видел лохматых коз, жующих серую бумагу.

Трижды он просился в разведку на катерах, в рейс на десантном корабле, в дозор на тральщике, но трижды старший Советник не разрешал, говоря, что они здесь не для того, чтобы показывать свой героизм: они здесь, чтобы помогать в оперативных вопросах, а не в тактических глупостях.

Затем он был наконец послан к своему дивизиону эскадренных миноносцев. Дивизиона, правда, не оказалось. Два из трех эскадренных миноносцев еще только должны были подойти на базу.

Эсминец стоял на якоре. Под бортом эсминца стоял ракетный катер и принимал топливо. Близко лежал в дрейфе еще катер и десантный корабль.

– Отгоняй их от борта! – сказал Советник подсоветному командиру корабля. – И запиши в журнал, что я тебе советую отогнать катера. Они горят хуже спичек, коллега.

– Сейчас они уходят, – сказал командир. – Уже шевелятся. Видите, мистер Николай, они отдают концы.

Действительно, катер командира звена заканчивал принимать топливо. А сам командир звена торчал у себя в рубке и демонстративно не глядел в сторону Советника. Командир был

старшим лейтенантом, по-нашему – три звездочки, а по-египетскому – капитан-лейтенант. Бог знает, откуда старлей происходил и где учился военно-морским наукам. Но неприязнь к советникам демонстрировал последовательно. Вообще-то катерники на всех флотах мира отличаются вздорным характером и обожают бунтовать против любого твердо установленного порядка. Все катерники в этом похожи. Неписаное правило еще с времен торпедных катеров, когда требовалось мужество особого качества – хулиганское, наглое, беспардонное: лезть на скорлупке, которую можно ногтем раздавить, прямо в пасть главному калибру хоть эсминца, хоть крейсера.

Катер отходил, переваливаясь легким корпусом на слабой зыби. Она хлюпала у него под днищем довольно добродушно. У катерников с зыбью особые отношения. Кто из военных моряков, кроме катерников, так с зыбями близок? Кто с ними на одной ноге? Никто, пожалуй...

К счастью, на катере не было боезапаса.

Он отошел не дальше кабельтова, когда прямо в него угодила ракета. Кораблик приподнялся над водой, как сормовские «метеоры», переломился в воздухе, и Советник увидел египетского нахального старшего лейтенанта. Взрывной волной того смахнуло с рубки, и командир звена катеров мелькнул на фоне желтого далекого берега. Он летел с раскинутыми руками, распятый на гребне взрывной волны.

Ракета из той же серии упала по левому борту эсминца метрах в ста. Советник отпрыгнул за броню носовой башни и присел на корточки. Тяжелый водопад густосоленой и теплой воды обрушился на эсминца. “Почему не было оповещения? Что смотрят радары дальнего обнаружения? Что творится! Потеряли корабль!”

Советник бежал на мостик, не бежал – прыгал сквозь трапы.

В боевой рубке еще никого не было, душный воздух под раскаленным на солнце металлом. Советник вдавил палец в кнопку колоколов громкого боя: “Боевая тревога!” И сразу поверх его пальца сунулся темный палец командира эсминца. И они в два пальца давили на реву, а бомбы поднимали столбы воды со всех сторон старого корабля.

Командиры боевых частей четко докладывали о готовности к бою. И командир корабля, и его подчиненные пока вели себя отлично. Это по видимости. А проверить, что они докладывают и соответствуют ли их доклады действительности, было невозможно.

Переводчик Славка появился рядом. Он был в каске, ремешок туго подтягивал к каске толстый подбородок.

Восемь “Фантомов” атаковали старый, времен прошлой войны, английский эсmineц, а берег пролопушил и все еще не открывал огонь.

Получился не бой, а расстрел. Но они все-таки отбивались двадцать семь минут. Корабль прыгал, и кренился, и мотался от взрывов, и главное было – удержаться за что-нибудь. Один раз Советник отпустил пиллорус, в который вцепился раньше, и сразу его так шарахнуло о сталь, что это показалось страшнее осколка в голову.

На двадцать седьмой минуте выпал перерыв. Советник сам рассчитал возможное время атаки “Фантомами”. Он знал расстояние до их аэродрома. И рассчитал длительность атаки, исходя из количества горючего, затрат на взлет, полет, бомбежку, возврат и посадку: получилось около тридцати минут. И он даже немного удивился точности своих расчетов, когда на двадцать седьмой минуте выпала вдруг пауза. И тогда оценил себя со стороны, решил, что держался хорошо, и отметил, что командир эсминца тоже молодец, только иногда репетовал его, Советника, команды-советы не по-арабски, а прямо повторял по-русски.

В минутном перерыве между двумя атаками у Советника возникло острейшее, нестерпимое желание закурить. Но закурить он не успел.

– Слава! Репетуи его команды хотя бы по-английски, когда он забывается и орет по-русски! – сказал Советник переводчику. – Особенно в машину, командиру БЧ-V. Механик хоть что-то по-английски поймет, а по-русски-то полная чепуха получается!



И здесь опрокинулись все его расчеты. Опять посыпались бомбы и взвыли “нурсы”. Осколки перебили паровые магистрали, и корабль окутался горячим паром.

Зенитные орудия были снабжены электронаводкой. Когда перебивало кабеля, матросы поднимали стволы орудий плечами.

Корабль начал крениться на левый борт. Орудия правого борта задирались на этом крене и продолжали вести огонь, хотя куда они вели огонь – понятно не было.

Якорь-цепь оборвало, и корабль подрейфовал в море, когда “нурс” прошел эсминец под первой башней. “Нурс” взорвался под килем. Это был конец. Крен на левый борт достиг шестидесяти градусов. Эсминец выглядел ужасно – весь такелаж, радиоантенны были изорваны и метались в вихрях взрывных волн.

Командир приказал экипажу покидать корабль.

Покидали без паники.

Советник твердо решил, что уйдет последним – после египетского командира.

Когда уходил, увидел чопы, торчащие из дыр подводной части. “Значит, они боролись за живучесть! – мелькнуло. – Значит, командир БЧ-V докладывал правду...”

С воды раздавались крики. Спасательный плотик запутался фалинем в искореженном железе, и его тянуло за переворачивающимся кораблем. В плотике было человек двадцать.

И тогда Советник побежал по бровке палубы к плотику, чтобы обрезать фалинь. Нож запутался в кармане мокрых штанов, он долго рвал его под аккомпанемент воплей с плотика. И обрезал фалинь. Его звали прыгать. Но он все еще не видел переводчика. Славка не сошел на плотик с командиром эсминца. Тогда где он? И Советник заорал: “Славка, Славка!!”

Это было глупо – орать. Все перекрывал гул воды, заполняющей стальные емкости под ногами, шум пара и лязг срывающегося с палубы металла. Но на его крик из тьмы дверей надстройки, из прямоугольника дверей, почти параллельных воде, показался наконец Славка.

Переводчик не был моряком и заплутал в корабельных шхерах, по которым найти выход, когда стенки стали полом, трудно и для опытного человека.

Спасательных жилетов не было ни у Советника, ни у Славки. Плотик отнесло уже метров на пятьдесят. Советник еще раз оглянулся на задранные орудия первой башни. Людей вроде не оставалось. Оверкиль назрел до самой последней стадии. Это было как нарыв, который лопается не от скальпеля, а от одного только приближения его, от движения воздуха перед острием.

– В воду, Слава! – приказал Советник.

– Плавать не умею! – заорал Слава.

– Марш!

Переводчик плюхнулся за борт. Советник прыгнул за ним, прихватил за волосы и поплыл к плотику.

Эсминец продолжал лежать на воде. Он – редкий случай – погружался не носом и не кормой, а плашмя, боком.

Спасательный надувной плотик был полон людьми, водой и мазутом. Он был пробит осколками и пускал пузыри. Никто устройства плота не знал. Советник приказал отыскать мех для надува плота. Мех нашли, но не могли найти штуцер. Раненые молились и стонали.

До берега было около двух миль. Плотик дрейфовал в сторону открытого моря.

“Теперь мне все равно, – подумал Советник, – потому что ничем не оправдаешься. Корабль погиб. Потеряли корабль. И мне отвечать. Плохо мне будет. Ох плохо!”

– Ну, если акулы не сожрут, то теперь порядок! – сказал Славка.

– Акулы оглушены взрывами или разбежались от взрывов, – сказал Советник. И вспомнил, что с кораблем уходили на дно документы, фотоаппарат, кинокамера, снятые пленки, деньги и ботинки, которые он успел снять, прежде чем прыгать в воду. “Хорош я буду, явившись в штаб в носках...”»

– Для начала, Коля, это просто замечательно, – сказал я даже без всякой паузы. – Попахивает Хемом, но про смерть и всякие такие африканские страсти у нас никто писать не умеет. А где продолжение?

– Больше ничего не получается.

– Когда это тебя угораздило?

– Шестнадцатого мая семидесятого на рейдовой стоянке Порт-Беренис в заливе Фаул-Бей, Красное море. Египтяне говорили, в этих местах зимовала английская королева в добрые старые времена.

– И как все-таки это произошло?

– Как? Первая атака – четыре «Фантома» по три захода, вторая атака – восемь «Фантомов» по два-три захода.

– Что за посудина?

– Эскадренный миноносец «Кагер», тип «Зет», заложен в сорок втором в Англии, вступил в строй в сорок четвертом.

– Боже! Этот драндулет мог ходить еще в союзных конвоях!

– Тактико-технические данные помнишь?

– Откуда? Я четверть века обхожу все боевые корабли за тридевять миль, а если есть возможность, то и дальше.

Коля ткнул пальцем в рапорт – читай, мол, сам. «Водоизмещение 2555 тонн, длина 110 метров, ширина 8, осадка 5,2. Самый полный ход – 28 узлов при попутном ветре. Главный калибр – 4 орудия в отдельных башнях, 2 в носу, 2 в корме, 114 миллиметров, максимальный угол возвышения 55°. Два торпедных аппарата, четырехтрубные. Экипаж 22 офицера, 239 старшин и матросов...»

– А что там у вас было из твоей родной пульно-вздульной артиллерии? – все-таки поинтересовался я еще.

– Десятка полтора «Бофорсов».

– Чего это такое?

– Сорокамиллиметровые автоматы. Эсминец стоял в двух милях от берега под прикрытием зенитного артиллерийского полка – три батареи по шесть стволов в каждой, калибр 57 миллиметров.

– На чем стояли? На бочке или якорях?

– У меня же написано. На правом якоре. На клюзе сто метров. Я считал зенитное прикрытие недостаточным и настойчиво требовал установить на ближней береговой косе дополнительную батарею или «стрелы»...

– Что такое «стрелы»?

– Ты сейчас откуда?

– Месяц назад пришел из Антарктиды.

– Я спрашиваю, откуда ты свалился?

– Из барокамеры, где дышал кислородом вместе с тобой.

– Ты действительно дурак или притворяешься?

– Действительно дурак, Коля.

– Этой штукой стреляют с рук вслед самолету, и она догоняет его. Имеются в виду низколетящие самолеты. Если противник знает, что у тебя «стрелы», он уже не пойдет на бреющем.

– Теперь понял. Что-то вроде фаустпатронов?

– Если тебе так нравится. Так вот. Потопили нас накануне того дня, когда у меня была назначена встреча с береговыми артиллеристами для совместного обследования места под добавочную батарею. Ладно, это уже те детали, которые и вспоминать тошно. Ты кораллы в стиральном порошке пробовал вываривать?

– Нет, их следует выдерживать в хлорке.

– Вот этого мы не знали. Красивая штука кораллы. И вообще там много было красивого. Из гостиницы был выход на смотровую площадку – ступеньки к самому морю, видны прибрежные лагуны – разного цвета, в зависимости от цвета кораллов и водорослей. Такие зеленые иногда, как наши зеленыя, а с другой стороны по горизонту красные горы. По синему небу – очень четкая кромка красных гор. А при луне, ночью – горы там и ночью видны, – какая красота! И вся долина Нила – мы из Кены питьевую воду в канистрах возили – тоже красота дивная. А с крыши гостиницы остров Шакер просматривался. Это на него ездили трупы опознавать. А за ним, за Шакером, южная оконечность Синайского полуострова. Там база израильская была Шармшейк. Правда, потом меня перебросили в Сафаджу – пыль, песок, маленький порт. Там английская база была, и англичане, когда уходили, ее взорвали.

– Коля, теперь постарайся рассказать мне все более или менее последовательно.

– В конце апреля эскадренный миноносец «Кагер» прибыл в Беренис из Бомбея, где проходил докование и ремонт с декабря прошлого года. Кораблю было приказано отработать первую задачу до конца мая в условиях рейдовой стоянки. Ну, что такое полгода ремонта в мирном, нейтральном порту, не тебе объяснять. Конечно, личный состав значительно утратил боевые навыки. Я в Александрии был, когда они в Беренис пришли. Пришли и в первую же ночь на родном рейде взорвались. На верхней палубе возле кормового торпедного аппарата у них была устроена стальная выгородка-кранец, где хранился запас взрыв-пакетов для отпугивания диверсантов-аквалангистов. Ну, знаешь, от сигареты запаливают фитиль и время от времени кидают за борт.

– А! – обрадовался я. – Капитан третьего ранга Креббс? Крейсер «Орджоникидзе» на рейде Портсмута? Лето пятьдесят четвертого?

– Молодец. Возьми конфетку. Вот весь этот запас у них и шарахнул. Но, к счастью, в торпедных аппаратах не было торпед. Иначе мне так и не пришлось бы повоевать. Вырвало кусок палубы и повредило гидравлику рулевого управления. Плюс всего четыре покойника. Вообще, должен сказать, на войне как-то мало убивают. На тральце у Курдаги всего шесть человек погибло.

– Слушай, но ведь в семидесятом войны между Египтом и Израилем вроде бы не было, – сказал я, вспомнив рейсы на Сирию и Ливан в шестьдесят девятом году.

– Потому мы, советские советники, там и были, что войны не было. В случае официального начала боевых действий мы должны были немедленно покинуть страну. «ТЩ» израильтяне потопили в отместку за диверсию египтян. А «Кагер» – тут история длиннее. Еще в шестьдесят седьмом египтяне потопили однотипный израильский эскадренный миноносец «Яффе». Тогда израильтяне поклялись отплатить тем же. Вот и отплатили.

– Все-таки что дальше-то с вами было?

– Дальше у меня только черновик рапорта, – сказал Коля и сунул мне пачку замусоленных бумажек с карандашным текстом.

Я вылупил на них глаза, потому что покрыты они были массой условных обозначений, формулами и сокращениями.

– Тут и Крачковский с Шумовским не разберется, – сказал я. – Читай сам.

– Пролет авиации противника к месту базирования кораблей в Беренисе происходил по трассе пролета международной гражданской авиации. Заход в атаку на корабль произведен внезапно, со стороны солнца, из-за отрогов гор. Это одной парой «Фантомов». И заход второй пары на контркурсах с другого борта через малый, две-три минуты, промежуток времени. Вторая атака производилась с барражирования по эллипсам на высоте шесть-семь тысяч метров, выход поочередно парами с интервалами двадцать-тридцать секунд, с крутого пикирования со стороны солнца. Сбрасывание бомб и пуски «нурсов» производились с высот четыре-пять тысяч метров. Бомбометание производилось с высокой точностью – отклонение от центра корабля на десять – восемьдесят метров. Отрыв бомб и звуки от них не слышны. Хорошо виден

выход авиации из пикирования. Вой «нурсов» слышен хорошо, но с запозданием. Точность «нурсов» хорошая. Слышимость работы авиации затрудняется из-за огня своей артиллерии. Наблюдению за атакующими самолетами мешает яркое солнце с отсветами от поднятого ветром песка и потоки воды от взрывов бомб, которые заливают глаза и оптику.

– Пару слов о командире, Коля. Где он учился? Если ты не устал.

– Тридцать четыре года. Мальчишка замечательный. Знаешь, он плакал. Когда над эсминцем вспучило последний пузырь, и – тишина над морем – нет корабля. Был. И нет. И все звуки куда-то тоже исчезли. Ни стоны, ни крика в этот момент. Он и заплакал. Совсем не ругался. А потом, на берегу, уже когда прощались, вдруг попросил вернуть бинокль. Славка каску-то сбросил, когда мы с ним на задницах к бортовому килю съезжали от фальшборта, а бинокль так и остался у него на шее висеть. И Славка его решил на сувенир зажать. А командир попросил бинокль отдать – ничего больше от корабля для него не осталось. И вот когда взял бинокль, то второй раз заплакал. Ну, что хочешь? Мальчишка.

– Коля, какой же он мальчишка? Нам с тобой в пятьдесят третьем на десять лет меньше было.

– А вообще они юмористы.

– Кто?

– Арабы.

– Вот уж чего не замечал.

– Ну и дурак, если не замечал. Ахмед всего полгода у нас учился. Спрашиваю, как это ты умудрился так хорошо русский понимать? Я, объясняет, в Бомбее всего четыре месяца на ремонте стоял, а уже и на хинди могу лекцию по марксизму прочитать. Надо, говорит, побыстрее с девушками знакомиться. Они балаболки – за один вечер голову по самую ватерлинию словами набивают. Только, говорит, надо УШИ РАЗВЕШИВАТЬ, когда с девушками по набережным гуляешь. Умница. И деликатности необыкновенной. Суеверный только слишком.

– Все моряки суеверны.

– Да, конечно, но у каждой нации свои заскоки. Откуда я мог знать, что на египетские боевые корабли нельзя раковины приносить? Утром этого проклятого дня попросил катер. Поехали на косу Бенас. Купаться. Вода прозрачности необыкновенной. С маской плавал. Набрал пятнистых ракушек. Знаешь, эти – щель такая волнистая, как будто губы улыбаются. Ах какая красота! Маска-то еще увеличивает... Выгружаю улов в каюте. Ахмед заходит. Побелел весь, шепчет: «Кацура!» Это слово у них и матерное, и вроде как проклятие, и вроде нашего «компец», «карачун», «хана». Я сразу ракушки в иллюминатор вышвырнул. Только он успокоился, закурил с ним, воду со льдом пьем. Жара, будь она неладна, африканская. И вдруг кошка заорала. Четыре кошки было – крыс пугали. Орет где-то кошка истошным воплем. Он опять побелел: «Кацура, мистер Николай, беда будет!» А еще пятница – святой день у них, ну, не святой, а молельный. Потому израильтяне по пятницам обычно сюрпризы и подбрасывают...

– Большие крысы?

– Среднего такого размера, и не очень наглые. А вот тараканы! Это тебе не наши букашки. Черные, и с пол-ладони. Я их больше мурен боялся. Так вот, орет где-то кошка и вся лавочка. Спустились в кают-компанию обедать. Кошка все орет. Вижу, и командир, и другие офицеры так переживают, что есть не могут. А жратва замечательная – голуби, фаршированные рисом...

– Где же ты все-таки у них юмор обнаруживал?

– Слова умеют обыгрывать. У них много слов, которые произносятся одинаково, а обозначают вовсе разное. Забыл, как такие слова называются.

– Омонимы. Сам их вечно с синонимами путаю. А писание твое для начала просто замечательное, Коля. Не вру. Попахивает, как уже говорил, Хемом, но про смерть и всякое такое у нас никто писать не умеет.

– Чем попахивает?

– Хемингуэем.

– Это можно напечатать?

– Это будет напечатано обязательно, Коля. Рано или поздно. Потому что это правда. А правдивые рукописи не горят.

– В отличие от эсминцев и адмиралов, – сказал правнук кухарки дедушки Крылова и кинул под язык нитроглицерин. – Неужели это можно читать, Витька?

– Еще раз говорю: это хорошо.

– Терпеть не могу, когда в кино большие начальники сосут таблетки, – сказал Коля и кинул себе в пасть еще одну. – Что-то сильно прихватило. Слушай, отведи-ка меня на отделение. Только тихонечко. И пускай мне в задницу поскорее вопьется животворная тонкая сталь...

И я поволок его под аристократической покатостью липовых ветвей.

На этот раз у Дударкина оказался не приступ ИШБ, а банальный инфаркт.

Потому что, увы, все это происходило не в кино. Хотя... хотя если наша жизнь и смерть хоть на что-то в искусстве смахивают, то это только в самых дрянных третьеразрядных фильмах.

## *Отход*

Днем поехал в отдел кадров, взял выписку из приказа о назначении на судно – теплоход «Колымалес».

Штатный капитан – Василий Васильевич Миронов. Познакомился с ним и его женой Марией Петровной в пароходском садике. Жена зовет мужа В. В. Так он чаще всего и будет – «В. В.».

Отход на Копенгаген и в Мурманск откладывается на неопределенное время.

В. В. отправил жену домой, а сам почему-то пошел ночевать на судно.

Я проводил Марию Петровну до такси. Она похожа на мужа – крупная, спокойная, негромкая, вздыхает точь-в-точь как В. В. Сказала мне:

– Что остается у жены моряка от всей жизни? Полиэтиленовый мешок с радиограммами. Желтыми уже. Со всех пароходов. Вот в войну, эвакуированная, в Ярославской области почтальоном работала. Пятнадцать, шестнадцать лет было. Нет, похоронки мне не доверяли, их в сельсовете вручали... Треугольнички носила. И вот – вся жизнь только через радио да письма... Вот сколько знаю жен моряков – все святые! А про плохих я помнить не хочу и говорить не хочу...

Маринисты тоже не хотят говорить о плохих женах моряков, ибо не судите и не судимы будете. Слишком тяжелая, безнадежно сложная штука – прожить женский век без мужчины. Чтобы за такую тему взяться, для начала надо проштудировать курс физиологии, сексологии и психопатии на половой почве. А где после таких штудий искать жасминную романтику, утренние звезды и Пенелопу?..

А вот в Марии Петровне, вероятно, и искать.

Кристина Хойловская-Лискевич в одиночку обошла на яхте планету, чтобы сказать: «Я не могла бы быть женой моряка».

Теплоход «Колымалес» – лесовоз, построен в 1960 году в Гданьске, Польша. Скорость 14,5 узла, район плавания неограниченный, автономность 36 суток, длина 124 метра, осадка в грузу 7 метров, водоизмещение полное 9915 тонн, мощность двигателя 4500 л. с., дальность плавания 10 440 миль.

Предполагаемая ротация: Ленинград – Копенгаген – Мурманск – Певек (Чукотка) – Игарка – Мурманск.

Как привычно и славно на старом лесовозе с ржавыми бортами и обмятыми шпангоутами. И весь экипаж тридцать три человека. После многолюдства пассажирского лайнера, битком набитого антарктическими зимовщиками, стюардессами, барменшами, официантками, кажется, что попал в мужскую монастырскую обитель.

В. В. на три года меня старше.

Юрий Иванович Ямкин старше на два. Но весь рейс на Антарктиду он заставлял меня играть роль рефлексирующего интеллигента.

На «Колымалесе» никто никакой роли мне, вероятно, навязывать не будет. Кроме той, которая положена по штату.

Не люблю людей с «тяжелым», «волевым» взглядом, «пронзительными» глазами. Знаю, такое вырабатывается иногда без всякого наигрыша у людей ответственных должностей, опасной работы, привыкших командовать. Но знаю и массу подобных людей, нормально обходящихся обыкновенными глазами и взглядом. И мне непонятно, почему, например, мемуаристы, пишущие о Твардовском, считают нужным подчеркнуть его острый, тяжелый, пронизывающий взгляд. Чего в этом хорошего? Ведь мог же обойтись обыкновенным взглядом Пушкин, – хотя тоже редактором толстого журнала был...

Марина Цветаева – через свое имя – всю жизнь была ушиблена морем. Море – сквозная тема ее раздумий с раннего детства и до смерти. Про капитана Скотта она говорит, что он грел свои предсмертные антарктические дневники тайным жаром.

Когда-нибудь выпишу все, что Цветаева сказала о море, – никто из самых прославленных маринистов столько не философствовал над водами. И так глубоко и неожиданно!

У штатного капитана «Колымалеса» взгляд человеческий и человечный.

Прежде чем ответить на вопрос, В. В. обыкновенно делает добродушно-коротко-скорбный вздох. Такой вздох очень крупного мужчины удивительно симпатичен. В момент такого своего вздоха капитан Миронов делается детски беззащитным – бери голыми руками. Но я бы этого никому не порекомендовал: кроме того железа, которое сидит в нем в виде осколков немецкой стали, там есть много еще жестких конструкций. Скорее всего и мне не миновать на эти конструкции напоротся.

Путиловской закваски паренек. Воспитывался при этом заводе.

Да еще и родился на шпанистом Крестовском острове. Кажется, в мои и его отроческие годы самыми шпанистыми пацанами считались лиговские и крестовские. А гаванская шпана появилась уже позже.

Но слышали бы вы, с какой ласковостью этот прошедший войну и все штормовые моря человек рассказывает о голубях! И я сразу обогатился кое-чем новеньким. Например, что пойманного голубя, даже увезенного за тридевять земель, нельзя выпускать раньше двадцать пятого дня. А потом уже можно – он не удерет, потому что забыл дорогу к родной голубятне.

Про этих птиц разговор зашел потому, что на пути в Ленинград в Северном море на судно сели два голубя – красавцы, аристократы. Устали птички или заблудились. Матросы соорудили им из старой рыболовной сети замечательное жилье на правом борту возле спасательного вельбота.

В первую же ночь после прихода в родной Ленинград грузчики сеть вспороли, голубей украли вместе с мешочком риса, который хранился в специальном металлическом ящичке возле вольера.

Разоренное голубиное жилье выглядит грустно и даже как-то безнадежно. Веет от него неудачей.

В. В. мастерски имитирует прищелкивания, свисты и подсвисты разных щеглов, дроздов, синиц – темный лес для меня. Умеет он это с детства. Ловил и держал дома птичек до самой войны. А любимого чижа выпустил только в октябре сорок первого. Чиж два дня сидел на ветке за окном и не улетал – был совсем ручным. Держал В. В. и снегирей. Одного невезучего снегиря схарчил кот, и В. В. кота наказал. Я удивился:

– Как возможно наказать кота?

– Вообще-то невозможно, – согласился В. В., – но я все-таки придумал. Очень уж хищный был кот. Я накрыл его медным тазом, в котором бабушка варенье варила. И лупил по тазу палкой. Все это я проделал в той комнате, где у меня жили птички. И после экзекуции кот и близко к той комнате не подходил.

– Может, он оглох?

– А черт его знает.

Потом В. В. по ассоциации вспомнил, что на заводе в котельных цехах, где был страшный грохот от клепки, работало около четырехсот глухонемых – им грохот был до лампочки. Проживали глухонемые рабочие над рестораном «Нарва» – ресторанный шум и музыка им тоже не мешали нормально спать. Но вот дети глухонемых, которые рождаются вполне нормальными, мучались. Это он знает потому, что у рабочих глухонемых служила толмач-переводчица, которая сама была дочерью глухонемых родителей...

Тут буфетчица Нина Михайловна, пожилая, молодящаяся, удивительно некрасивая, принесла капитанское постельное белье и одеяло.

В. В. посмотрел на одеяло недоверчиво:

– Нина Михайловна, я к своему привык, а вы мне вроде не моё стелете.

– Нет, это ваше, Василий Васильевич!

– Да? – недоверчиво тянет В. В. – Мое вроде потемнее было...

– Так теперь его постирали – вот оно и посветлее стало, – вразумительно объясняет Нина Михайловна.

Капитан недоверчиво шупает одеяло и почему-то даже нюхает его:

– Вроде мое, Нина Михайловна, и потолще было, а? Потяжелее?

– Так теперь его постирали, вот оно и полегше стало, – терпеливо объясняет Нина Михайловна.

– Ладно, стелите, – все еще с некоторым сомнением командует В. В.

Возникает начальник радиции Василий Иванович и заводит разговор о том, что его приглашает на шикарный контейнеровоз корешок-капитан, сулит всякие прелести и жаркие страны вместо Арктики.

В. В. внимательно слушает.

И с каждым словом радиста капитанский взгляд делается безмятежнее и человечнее – сей момент даст радисту вольную, но, опять вздохнув, вопрошает:

– Кто лучше вас умеет в Арктике эфир подслушивать? Никто, Василий Иванович, так не умеет. Так что, дорогой, считай, что ты внесен в инвентарную опись теплохода «Колымалес» навечно.

Радист обреченно кивает головой и спрашивает у меня:

– Это вы «Среди мифов и рифов» написали?

Не знаю, тесен ли мир, но то, что океан тесен, не вызывает сомнений, ибо здесь вдруг еще выясняется, что радистка Людмила Ивановна со старика «Челюскинца», которая вырезала из пенопласта зверушек для внука в разгар израильско-египетской войны, учительница нашего нынешнего начальника радиостанции.

Ну, как мне-то в таком случае всю дорогу не поминать прошлые рейсы и прошлые книги, если на каждом шагу встречаешься с прошлым вживе?

Занесенный навечно в инвентарную книгу теплохода «Колымалес» Василий Иванович прощается до завтра, ибо отход откладывается еще на сутки: порт никак не может догрузить судно и раскрепить груз, хотя были взяты самые социалистические из социалистических и самые развитые из развитых обязательства по обработке судов, следующих в Арктику по самым опережающим графикам при всех встречных и поперечных планах. Около пяти вечера отправляюсь домой. В пустой кают-компании возле пианино сидит в кресле – уютненько, с ногами, – буфетчица Нина Михайловна. (Я уже знаю, что ее прозвище Мандмузель.) И читает «Королеву Марго». Подняв глаза от книги и опустив ноги долу, говорит:

– А у нас в Выборге в прачечной двести штук судового белья украли, но прокуратура-дура дела не стала заводить.

– Переживем и это, Нина Михайловна.

– Я просто к тому, что голубей украли и белье – это примета плохая.

– Типун вам на язык.

Объясняю свое служебное положение.

Я дублер основного, штатного капитана, утвержденного на коллегии ММФ именно на такое-то судно. Я отвечаю за судовождение в те часы, которые своим приказом назначит мне Василий Васильевич.

Я имею диплом капитана дальнего плавания и теоретически имею право командовать любым судном в любой акватории Мирового океана. Но не практически, ибо для назначения на утвержденного капитана в заграничное плавание надо пройти курсы, экзамены, проверки, зачеты и оформления.



Короче говоря, я никогда не буду штатным капитаном на торговом флоте.

И правильно.

Море требует от человека жизни. Или отдавай судьбу, или оно не признает. Литература требует того же. Я выбрал второе.

Обратимся к словарю иностранных слов.

«ДУБЛЕР (*фр.*) — 1) тот, кто параллельно с кем-либо выполняет сходную, одинаковую работу; 2) актер, заменяющий основного исполнителя роли в спектакле; 3) киноактер, воспроизводящий речевую часть звукового фильма на другом языке путем перевода, соответствующего слоговой артикуляции действующего лица; 4) лицо, заменяющее киноактера при исполнении сложных номеров или акробатических трюков».

Не удивляйтесь, что в словаре в кучу свалены капитаны и актеры. Судоводители в той или иной степени актеры. Командовать людьми без определенного лицедейства невозможно. Другое дело, что лицедейство на каком-то этапе может незаметно перейти в суть и сделаться неотторжимой маской.

Схожесть судоводителей и актеров еще в том, что ты всегда на виду, ибо ходовой мостик своего рода сцена и на тебя каждую секунду с предельной внимательностью глядят иногда десятки глаз.

Я такой судоводитель, что внимания на взгляды не обращаю, хотя болезненно не люблю, например, сидеть в президиуме или публично выступать. И если на мостике оказывается постоянный человек, то он мешает нормально работать, и я ловлю себя на чем-то актерском в поведении, и цепочка мелких чувствований может привести к крупным ошибкам. Думаю, такое свойственно не только мне, но и большинству людей, ежели они не профессиональные артисты. Отсюда категорическое правило: на ходовой мостик не допускаются зрители – даже если они большие морские начальники.

Наше актерское амплуа закреплено и в официальном документе, который называется «судовая роль», – это список экипажа, где указаны должность (роль), год рождения и номер паспорта моряка.

В судовой роли я традиционно стою вторым после дублируемого капитана. В случае болезни или смерти основного капитана дублер автоматически принимает на себя командование судном.

Все, что указано в словаре иностранных слов, мне в жизни и в этой книге предстоит делать, включая акробатические трюки. Кроме воспроизведения звуковой части В. В. и других героев на литературно-цензурном языке с «соответствующей слоговой артикуляцией». Соответствующая артикуляция не получится. Особенно когда дело дойдет до речевой части старшего механика Октавиана Эдуардовича. Ну что же, к такой ситуации русскому писателю не привыкать. Вечно он тащит из болота за хвост не грязного бегемота, а романтического Дон-Кихота. Такая уж у нас работа. И потому – после весьма долгих раздумий – я поведу часть и вымышленный дневник. Если можно выдумывать рассказы, повести и романы, то почему нельзя выдумывать дневник? Пишут же одинокие, несчастные женщины сами себе письма? И наклеивают на конверты марки, и опускают в почтовые ящики, и ждут потом свои собственные письма, и читают их случайному встречному.

Отход отложили еще на сутки.

Такие многоступенчатые отходы удивительно дурно действуют на психику, хотя вроде бы надо радоваться: из девяти отложенных отходов разков пять-то удастся и дома побывать. Но в том-то и дело. Попрощаешься, уйдешь или тебя проводят, и ты вздохнешь с облегчением, и домашние вздохнут с не меньшим – ан нет! – к вечерку опять являешься: «Здрасте, я ваша тетя...» Омерзительно. Опять отходную пить? Вроде бы уже и не лезет, а делать что? Сидеть на пароходе и смотреть на разоренный голубиный вольтер? Очень грустно-гнусное впечатление он производит, и в каждом грузчике, ползающем по палубному грузу, чудится ухмыляющийся

птичий вор. И ведь на ближайшем пакгаузе шумит целый птичий базар из самых разных голубей – лови не хочу. А докеры украли судовых.

Решил домой не идти и остался ночевать на судне.

Каюта маленькая, но с персональным галюном – и то хлеб. Вообще-то она в случае необходимости служит медизолятором.

В грязном стакане рядом с графином остались от предыдущего жилья три высохшие розы. Почему-то мне не хочется их выкидывать.

Около полуночи взял у вахтенного помощника ключи, поднялся в ходовую рубку, чтобы без зрителей познакомиться с радиолокационной и другой аппаратурой.

На судне никаких работ – пусто и тихо. И весь порт будто вымер.

С верхотуры рубки вокруг видно далеко и привольно. Ночи еще белесые. В белесом свете спят многоэтажные дома Автова.

В пенале обнаружил бинокль. Обычно-то на стоянке третий штурман такие дорогие прищипалы прячет у себя в заглазнике.

Редко удается смотреть на родной город в бинокль.

«Вчерашние заботы», из-за которых нынче я опять гремлю в Арктику, начинаются с истории о потерянной винтовке, гауптвахте, мичмане-тюремщике Бармалее и строительстве трамвайной линии от Красненького кладбища на Стрельну.

На Красненьком кладбище упокоил вскоре ближайшего друга – Юлька Филиппова.

Мой первый ближайший друг беспричинно и бессмысленно повесился. О его судьбе вспомню когда-нибудь не мимоходом, а тщательно и с полной выкладкой. Юлька вошел в меня, мою жизнь навсегда и сыграл в ней роль в высшей степени положительную и во многом решил мою будущую писательскую судьбу.

Вероятно, сам он погиб потому, что не научился отделять красоту от действительности в нужные моменты. А я этому все-таки подучился.

Юлька начинал в военном оркестре трубачом мальчишкой-блокадником. Он еще в Подготовительном училище начал приучать меня к чтению серьезных книг. Это с ним вместе мы путались в «Анти-Дюринге», самостоятельно и в полном объеме читали «Капитал»; под его нажимом я согласился поступить в сорок девятом году в университет на филфак, русское отделение, экстернат (в те времена был экстернат – великолепная, удобная форма учения, которая почему-то ныне начисто упразднена). Ну, из университета через год нас выгнали, хотя мы толкали экзамен за экзаменом с некоторым даже блеском, – вышел приказ министра обороны о том, что будущие офицеры не имеют права получать второе высшее образование. Вероятно, смысл приказа был в том, что офицеры, получившие второе образование, при первой трудности с легкой душой могут драпануть со службы: на гражданке-то у них профессия будет.

Многовато моих друзей ушло из жизни самовольно. И женщины так уходили. И светоносные русские девушки, выдумывающие сами себя, а потом напарывающиеся на будничные мифы и беспощадные рифы...

*Двадцать девятое июля, День Военно-Морского Флота.*

В 17.00 отшвартовались от причала № 41 Ленинградского торгового порта.

Перед нами отходит к Кронштадту мощная грозовая туча. В ней полыхают молнии и вызывают треск в рации. Догоним мы тучу или нет? Лучше не догонять – в грозовом ливне видимость равна нулю, а впереди узкость.

Поздновато нынче уплываем. Прошлый раз на «Державине» День ВМФ мы с бессмертным Фомой Фомичом праздновали уже на Диксоне.

В. В. по радиотелефону связывается прямо из ходовой рубки с супругой.

Мария Петровна была на судне до самого закрытия границы. И потому я спрашиваю:

– Думаете, она уже успела добраться домой?

– Живем-то рядом с портом. А вы куда-нибудь будете звонить?

– Нет. И так слишком долгое прощание.

Грозвые разряды затрудняют разговор по радио, но слышно, как Мария Петровна просит супруга не скупиться на радиogramмы.

Он это обещает, но как-то уклончиво. А вот, мол, звонить из Мурманска будет обязательно.

Мария Петровна раздражается, кричит отдельно:

– Мне!.. Нужны!.. Твои!.. Радиogramмы!.. Не!.. Ленись!..

Туча продолжает отступать перед нами. Вероятно, она уже над самым Кронштадтом.

Прошли нефтебаки и насыпную часть Морского канала.

Между свинцовой водой и свинцовым небом алыми язычками дразнятся буи, ограждающие правую сторону фарватера. Дождик прикапал – теплый, летний... «А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь... Мелькнет в толпе знакомое лицо...»

Кажется, уплывать в грозу – хорошая примета.

– Какая у меня до Мурманска главная задача? – спрашиваю у В. В.

– Ваша задача – отдохнуть, отсыпаться, выкинуть из головы вчерашние заботы и последний рейс на Антарктиду. В Арктике лед другой. Он, конечно, без всяких там ужасных айсбергов, но, сами знаете, подлый, как те люди, которые наших голубей украли.

– Ну это уж вы слишком арктические льды причастили. Слава богу, они нас пока не слышат.

Молодой пижонистый лоцман демонстрирует историческую образованность, вычитывая из записной книжки:

– «А на море так безызвестно есть как человеку о своей смерти. Это Великий Петр сказал, когда велел в Кроншлоте на Котлин-острове иметь непрестанную великую осторожность, ибо приморские крепости вельми разность имеют с теми, которые на сухом пути, ибо на сухом пути стоящие крепости всегда заранее могут о неприятельском приходе ведать, понеже довольно времени требуют войску маршировать, а на море так безызвестно есть как человеку о своей смерти. Ибо, получа ветер способный, без всякого ведения неприятель может внезапно прийти и все свое черное намерение исполнить, когда не готовых застанет...»

Над боевыми кораблями в Кронштадте реют флаги расцвечивания – празднуют мои военно-морские корешки свой День.

Туча свалилась к Шепелевскому маяку, впереди чисто.

Чуть рябит волна в Маркизовой луже.

Сдали исторически образованного лоцмана – и полный ход!

В. В. вскоре после войны, когда он еще был матросом на каком-то чумазом буксире, встретился с капитаном-чудаком.

Историю про чудака рассказал мне не без назидательных ноток.

Капитан-чудак был стар. Прибыл старик на подмену постоянному капитану и обнаружил в каюте шкафы и рундуки, битком набитые грязным бельем, носками, рванными ботинками и прочим наследством нечистоплотного и невежливого человека.

Носки и стоптанные тапочки старик выкинул в иллюминатор, засоряя окружающую экологию. Белье выстирал собственноручно. Выстирал и свитеры. Залатал и подбил ботинки и сапоги. Все чистое и отглаженное уложил в полном порядке. И в конце многодневных трудов, которые, естественно, вызвали у экипажа любопытство, старик-чудак заявил: «Вот вернется – пусть ему стыдно станет, а пройденного пути от нас не отберешь!» Вроде все это звучало вполне бессмысленно, но привязалось. Сперва В. В. употреблял присказку в чисто юмористическом варианте. Например, прихлопнут человеку визу за давние грешки, – можно сказать: «Да-а, пройденного пути у нас не отберешь!» Затем присказка наполнилась валютным содержанием: за каждые сутки морского пути положена моряку валюта, и если даже в конце пути посадил он пароход на мель, то заработанную валюту обратно у него не отберешь. Ну, а к

старости наполнились эти слова новым, глубоким, гордым, горьким, щемящим, чем-то сладким, отчаянным, веселым, тоскливым... Обернись назад, взгляни в свой кильватерный след, вспомни: сколько чего за кормой осталось – это все твое, и никто того не отберет...

На утренний чай в кают-компанию В. В. является первым. Когда бы он ни лег, в семь тридцать входит в кают-компанию и занимает место во главе стола, где на отдельной тарелочке лежит перед капитаном алая, свежая, чистейшим образом вычищенная морковка. Эта морковка – ритуал, вещь в себе, тотем, тайна. Ни о каких витаминах В. В. не думал, когда завел такой порядок начала рабочего дня.

На белой скатерти, среди белых приборов, на белой тарелочке алая морковка выглядит безумно соблазнительно. А звонко-мелодичное разгрызание морковки вызывает по отношению к капитану «Колымалеса» особый вид почтения и, чего греха таить, зависти к его зубам.

Да, В. В. любит ритуалы и ритуальность – малюсенькие ритуальчики, но исполняемые неукоснительно. Не знаю, что бы он сделал с поваром и буфетчицей, кабы однажды утром не обнаружил на тарелочке свою морковку. Думаю, повар полетел бы за борт, а буфетчица на манер ведьмы вылетела бы с парохода через трубу. И на это страшное преступление В. В. отважился бы с ясными глазами и чистой совестью.

После утреннего чая по старинной традиции поднимаемся на мостик.

Утреннее солнце прозрачно-чистое, без дымки. Много попутных и встречных судов. Их следует обсудить, помыть им косточки:

– Какая у этого-то надстройка дурацкая, как у нашего «Варнемюнде»...

– «Ро-ро» прет – да-а, это не мы: они за один автомобиль или за тонну груза получают фрахт в сотню валютных рублей...

– А мы сколько, Василий Васильевич?

– Так мы, Виктор Викторович, обычно пыль и дрова возим – по шесть рублей за тонну выходит...

– Что это там? Вроде как полоса шуги?

– Море цветет.

– Такое густое цветение? В конце июля?

– Вероятно, тут давно штиль стоит – вот и скопились цветочки. Прямо ход сбавляй...

– Чаек не видно...

– Скоро появятся...

В желудках покорно перевариваются по два крутых яйца и хлеб с маслом. Дымятся первые после утреннего чая сигареты – благолепие и душевный комфорт.

– Когда в Союзе цены на ковры повысили, так об этом в Бельгии раньше, чем у нас, узнали...

– И что?

– Приходим в Антверпен, а там ковры на восемьдесят процентов дороже. Мы: вы тут спятили, голубчики бельгийские?

– А они?

– Вы, говорят, сами спятили...

Спокойное плавание по летней Балтике.

МОСКВЫ 0410 РАДИО ВЕСЬМА СРОЧНО ВСЕМ СУДАМ СЕВЕРНОГО МОРЯ ОТ РАДИОСТАНЦИИ ЛАТЫНЬ ZZZ ПОЛУЧЕНО СООБЩЕНИЕ ЧТО ПРОЛИВЕ БОЛЬШОЙ БЕЛЬТ С СУДНА УПАЛ ЗА БОРТ ЧЕЛОВЕК ТКЧ ПРОШУ ДАТЬ УКАЗАНИЕ СУДАМ ПРОХОДЯЩИМ ЭТОМ РАЙОНЕ УСИЛИТЬ НАБЛЮДЕНИЕ ТКЧ ИНФОРМИРУЙТЕ НАС = 41 °СМБС ЛАЗАРЕВ

Пока мы доплываем до Северного моря, бедолага наверняка утонет, потому никаких мер предпринимать нам не следует. Однако на душе осадочек.

Надо вдуматься в выражение «приказал долго жить». Надо снять с этого выражения покров привычности, обнажить парадоксальность: ведь это же наказ долго жить тем, кто жить остается, а не информация о чьей-то смерти!

Ночью ветер зашел в правый борт, засифонило в окно моей каюты.

Около полудня встретили на контркурсе «Нерей». Даже не верится, что я работал на этом малюсеньком буксирчике и зимовал на нем возле набережной Лейтенанта Шмидта.

– «Нерей», я «Колымалес»! Откуда идете?..

Возвращаются от Канарских островов. Никого из знакомых на борту нет.

Пожелали друг другу счастливого плавания.

И разошлись как в море корабли.

Сон. Большой, очень длинный парусный корабль. Входим в узкость. Вероятно, норвежские шхеры. Оглядываюсь – корму заносит, ибо бизань парусит. Командую вахтенному помощнику: «Травить гика-шкоты бизани! Сами не видите?!» Как только потравили гика-шкоты и бизань легла под ветер, проснулся. Проанализировал поступки – все правильно!

Возможно, парусник приснился потому, что намеренно устроил большую стирку. На парусниках же курсантов часто заставляли стирать то робу, то паруса, то мыть палубу. Да и мое мокрое белье, которое сохло в каюте, на сквозняке парусило.

Баркентины, бригантины и барки будут плавать в океанах всегда. Ибо паруса никогда не забудут про ветры, а ветры никогда не забудут о парусах...

Уже в первые часы знакомства выяснилось, что весь командный состав перекрещивал пути с Фомой Фомичом Фомичевым.

Помполит рассказал, как попал к Фомичу на подмену и потом две недели не мог вырвать у него денежный аттестат... Второй помощник Митрофан Митрофанович, который был вторым же на «Комилесе», когда я с Фомичом возглавлял «Державино», покатился со смеху, вспомнив, как мы становились на якорь в Певеке. Механик отлично знает про то, как Фомич посетил в Париже Лувр. Ну и так далее. В результате безо всякой натуги в обиход на судне прочно въехало-вошло добавочное предложение: «Как сказал бы Фома Фомич...» К примеру. Паримся в бане. Забился шпигат. Кому-то надо чистить. Раздается: «Тут, как, значить, сказал бы Фома Фомич, кишка, значить, не так прохудилась, как, значить, закупорилась. Кто брюки последним снял, тот, значить, пушай туда первым и лезет, в шпигат этот подлый!»

Фома Фомич последний перед пенсией рейс делал на «Колымалесе». В. В. с ним знаком «семьями». Когда Фомич оформил уже пенсию, то в разговоре сообщил, что у него есть дача. «Почему же я раньше не знал? – спросил В. В. – У тебя она недавно?» – «Семнадцать лет», – скромно сказал Фома Фомич. «Чего ж ты мне раньше-то не говорил?» – «А зачем мне, значить, размножать, значить, черную зависть у вас у всех?» – вопросом на вопрос ответил Фомич.

В предпенсионном рейсе с Фомой плавал наш нынешний радист. Фомич пробился на подмену на «Колымалесе», так как его «Державино» погнали в Арктику. Пришли на «Колымалесе» в Роттердам, радист уже опечатал радиорубку, но капитан потребовал срочную связь с парокходством, чтобы пожаловаться на какой-то роттердамский непорядок. Радист – приказ капитана! – сделал связь. А Фомичу из парокходства – бах: «Следуйте в Мурманск!» – «Как?! Мы на Италию должны!» – «Следуйте!» Фомич решил подождать в Роттердаме письменного подтверждения приказа. Подтвердили. Плывут они на Мурманск, и Фомич каждые сутки отправляет в парокходство радиограммы: «Кровяное давление 280 на 220 зпт головные боли», «Давление 290 на 240 зпт боли голове отсутствуют». По приходе в Мурманск его списали – и с концами, на пенсию.

Давление и пульс Фоме Фомичу измерял старший помощник, ибо врача не было. Фомич вызывал старпома на мостик, и там – при всех свидетелях – ему и намерили морячки двести восемьдесят на двести двадцать. Эту фантастику он и зафуговал в эфир.

Проходим Гельголанд. Штиль.

Старший механик с древнеримским именем Октавиан обладает колоритной способностью систематически ломать или вывихивать себе руки и ноги. Прodelывает он это во сне.

В 02.20 я был разбужен непонятным грохотом, а затем басовитым ором капитана. Оказалось, что стармех с такой силой ударил ногой в переборку, за которой спит В. В., что мастер проснулся и выскочил из каюты на разведку в трусах.

Утром стармех приковывал на завтрак с палкой. Правая нога у него была в жесткой, с лубком, повязке. Дело в том, что он серьезно занимался джиу-джитсу, а всю жизнь ему снятся драки. И вот в этих зефирных драках он наносит противникам ужасающие удары ногами и руками. Если сокрушительный удар приходится в стальную переборку, то драка заканчивается травмой.

Октавиан Эдуардович утверждает, что человека ни разу в жизни не ударил.

Он круглый сирота. Родители пропали в войну. Древнеримское имя придумал себе сам, ибо в детдоме полюбил преподавательницу истории. Из сибирского детдома трижды бегал в Москву и на фронт. В Москву – искать родителей. Ему казалось, что мать жива и просто его бросила. Казалось ему правильно. Уже после войны он раскопал мать в... Польше. Она вышла замуж за польского офицера. История какая-то темная. Когда уже после войны Октавиан встретился с матерью, от нее узнал, что отец тоже жив. Усыновляться Октавиан не стал. И разговаривать на эту тему дальше не захотел.

Палка, на которую стармех опирается после ночной драки с переборкой, мемориальная, подарок матросов. На палке выжжены миниатюры, показывающие этапы будущей жизни Октавиана Эдуардовича, если он не отучится от джиу-джитсу. Вот старший механик на одной ноге – другая напрочь отломалась, и он бережно прижимает ее к груди. Вот он уже без обеих ног. Вот он на тележке для инвалидов, которая на маленьких колесиках-роликах: отталкивается руками от подстилающей поверхности. Вот он отталкивается уже только одной рукой. Вот он отталкивается... Простите, что остается у мужчины, когда нет уже ни ног, ни рук?.. Вот этим самым и отталкивается Октавиан Эдуардович. А вот он этим же местом и тормозит, когда тележка покатила под гору. Дальше написано по-английски: «The End!»

Очень талантливый самородок выжигал миниатюры. И потому показывать палку существам слабого пола лучше не будем.

Любимая присказка механика: «Конь любит ласку, а машина – смазку».

Инвалидов войны он называет самострелами. Курсантов-практикантов, которые явились на борт в Ленинграде после сильной драки, презрительно обозвал бойломом. А в обычной обстановке он называет их декадентами.

Десятилетний Октавиан тонул в речке Клязьме – упал с моста. Развилась гидрофобия. Полтора года не подходил к воде. На двенадцатый год рождения Октавиан сколотил из ящиков плот и заставил себя проплыть по реке под тем мостом, с которого упал. И страх пропал, и он почувствовал себя птицей. В юности пытался поступить в летное училище, но был очень дохлый и медкомиссии не прошел. Пытался поступить в мореходку на судоводительский, не прошел по конкурсу, ибо был очень туп и сер. Попал на механический факультет. В судовожении разбирается прямо-таки профессионально и большую часть свободного времени проводит на мостике.

Первый раз женился фиктивным браком на такой же, как и сам, детдомовской сироте. Она была неизлечимо больна – костный туберкулез. Женился из жалости и чтобы «иметь якорь», то есть родственника на берегу, без такого «якоря» визу для заграничного плавания не давали. Честно отмучился с несчастной женщиной десять лет – пока она не умерла. Теперь женат вторично и растит маленького сына – одногодка внучки Василия Васильевича. Капитан мне это и рассказал, закончив новеллу словами о том, что никто пути пройденного от нас не отберёт...

У моей пишущей машинки очень отяжелели клавиши – тугие стали. Костенеет старушка. Ведь ей уже не меньше тридцати четырех лет – немецкая, трофейная еще, для ротных канце-

лярий машинка, под бомбежками кувыркалась, на первый гонорар ее купил. И вот уже ногти болят от железных клавиш, но какое-то суеверие не разрешает перейти на новенькую машинку, которая давно скучает под диваном.

Вибрации на полном ходу такие сильные, что «Эрику» тошнит прямо на меня, и она закусывает ленту как норовистый конек уздечку.

– Не смей безобразничать, старушка!..

Прочитал у Нодара Думбадзе: «Я искал свободы и потому избрал смех». Я бы рад ему следовать. Но ныне знаю – и знаю твердо, что не мы выбираем смех в любой момент или в любой ситуации, а он, увы, нас выбирает или нет. И если нет, то дело твое табак. Насильно мил смеху не будешь. Кажется, он послал меня к черту, этот легкомысленный приятель. Вернись, дружище, ну что тебе стоит?!

## *Давняя драма в проливе Флинт*

Про пиратов Флинта ничего не будет. Дело происходило в территориальных водах Швеции, которую Петр радикально отучил от всяких пиратств и научил миролюбию и нейтралитету. Помните украинскую песенку: «Ворскла – ричка невеличка, тече здавна, дуже славна, не водою, а вийною, де швед полиг головою»?

14 мая 1959 года танкер «Фридрих Энгельс» снялся из украинской Одессы в шведский порт Лимхамн с полным грузом мазута – 10 929 тонн. Танкер имел длину 140 метров (улица Зодчего Росси – 220 метров).

Капитан – Вотяков Иван Николаевич, капитан дальнего плавания, 32 лет. Старпом – штурман дальнего плавания, 29 лет. Второй помощник – штурман дальнего плавания, 26 лет. Судно новенькое – два года с постройки.

Молодой капитан поставил службу так, что штурманы во время несения ходовых вахт кроме наблюдения за горизонтом только фиксировали позицию судна, не пытаясь анализировать пройденный путь и предстоящее плавание. Когда капитан присутствовал на мостике, он не поручал ни одному из штурманов, даже старшему, управлять танкером при расхождении со встречными судами. Были случаи, когда капитан часами не допускал штурманов к навигационной карте: он болезненно реагировал на любые замечания по вопросам, связанным с судовождением. В результате штурманы замкнулись и не проявляли инициативы.

Обстановочка! Представьте этих молодых людей за общей трапезой в кают-компании – как они хлебуют щи, не поднимая глаз от тарелок.

Никто из штурманов, даже старший, не знал пути, которым капитан Вотяков намеревался вести танкер в порт Лимхамн, а потому не могли обнаружить и предупредить неправильные действия и ошибки капитана.

На переходе через Черное и Средиземное моря, Атлантический океан и Английский канал курс судна проходил по обычным морским путям, имелось достаточное количество определений места.

После выхода из Дуврского пролива в Северное море капитан принял решение следовать дальше через Кильский канал. В соответствии с этим судно придерживалось прибрежного минного фарватера. (После окончания войны всего четырнадцать лет.)

27 мая теплоход подошел к плавучему маяку «Эльба I», принял лоцмана и последовал по реке Эльбе. На подходе к якорной стоянке «К-рейд I» у Брунсбюттель Ког танкер на малом ходу левым бортом сел на мель. Во время прилива, частично переместив груз из второго левого танка в первый правый, судно самостоятельно снялось с мели и переменило место якорной стоянки. О посадке на мель капитан Вотяков пароходство не информировал.

28 мая в 14.09 танкер вышел из канала в Кильскую бухту и в 17.42 миновал траверз маяка Фемарнбельт. После этого стало очевидным намерение капитана следовать в порт назначения проливом Зунд.

При дальнейшем плавании курсы располагались по объявленным минным фарватерам. Место судна определялось регулярно с использованием всех навигационных и радиолокационных средств.

29 мая в 00.00 на вахту заступил второй штурман Дружинин и матрос первого класса Василенко. Установленный капитаном порядок несения ходовой вахты не дал второму штурману возможности ознакомиться с районом плавания в период вахты, так как лоция проливов и карты подхода к порту назначения находились в каюте капитана.

(Здесь возникает подозрение, что огромным судном, в чреве которого 11 000 тонн мазута – двести-триста железнодорожных цистерн, – командует сумасшедший человек: почему он



прячет несекретные лоции и карты непосредственных подходов к порту назначения у себя в каюте?)

С ноля часов Вотяков находился на мостике и сам осуществлял судовождение.

В 03.20 определили место по двум пеленгам: по маяку Дрогден и огню буя Лильгруд. Через три минуты прошли траверз буя Лильгруд в расстоянии 1 кабельтова, оставив его с правого борта. Еще через две минуты начали поворот на курс 49° – на середину прохода Флинт. Здесь второй штурман Дружинин в присутствии свидетеля – вахтенного матроса Василенко – сказал капитану, что глубины прохода Флинт меньше осадки судна.

(Самая глухая ночь, в рубке темно, но, вероятно, второй штурман так побледнел, когда позволил себе такое замечание, что его лицо можно было рассмотреть во всех подробностях и в темноте.)

Капитан ответил, что сейчас прилив, а потому проход возможен.

И второй штурман (скорее всего демонстративно и в нарушение законов судовождения) даже не включил эхолот на мелководье. Хотя отлично знал, что в Балтийском море и Балтийских проливах вообще нет ни приливов, ни отливов – Луна даже в сизигию натягивает здесь один-два сантиметра. На Балтике бывают только ветровые нагоны или стоны уровня воды.

К этому моменту танкер имел осадку: нос – 8,3 метра, корма – 8,75 метра. Осадка на полном ходу судна увеличивается. Танкер шел полным. Осадка его была не меньше 9 метров, а глубины в проходе Флинт – 7,1 метра.

В 03.26 теплоход наскочил на подводное препятствие. Машина была застопорена, но только еще через минуту – в 03.27 танкер остановился. Были повреждены грузовые танки № 3, 4, 5, 7, а также грузовое помповое отделение, носовой коффердам и диптанк. Эти повреждения привели к утечке груза, о чем свидетельствовали пятна мазута на поверхности воды. Для спасения груза капитан Вотяков решил частично перепустить груз мазута из поврежденных в порожние танки № 1 и 8, чтобы создать воздушную подушку в поврежденных танках и не допустить дальнейшей утечки.

Всеми спасательными операциями, которые были разумными, своевременными и эффективными, с момента аварии и до прибытия спасательного судна «Голиаф» руководил сам Вотяков, а затем, после подписания контракта о спасении 30 мая 1959 года, капитан спасательного судна «Голиаф» Шацкий.

31 мая капитан Вотяков Иван Николаевич отправил радиogramму начальнику Черноморского пароходства, в которой полностью признал свою вину за происшедшую аварию. Отправив это РДО, капитан покончил самоубийством, утопившись под бортом судна. Дабы не возникло подозрений о его бегстве на близкий шведский берег, Вотяков, привязав к шее звено якорной цепи, закрепил на себе пеньковый трос, конец которого оставил на борту, а в каюте оставил записку, в которой указал номер шпангоута, возле которого его тело следовало вытащить.

Дальнейшие работы по снятию танкера с мели осуществляли спасательное судно «Голиаф», буксирный пароход «Карел», танкер «Очаков» и шведский лихтер «Инджегер Рейтер».

Всего было спасено 10 168 тонн мазута из общего количества 10 929 тонн, имевшихся на борту к началу рейса. Потеря груза составила 761 тонну (в том числе около 160 тонн мертвого остатка в танках теплохода). Убытки по грузу, таким образом, оказались просто чепуховыми.

Этой аварией я интересуюсь двадцать лет.

Нынче миновали поворот к проходу Флинт и место посадки «Фридриха Энгельса» первого августа. Штиль, ясность, голубизна. До Копенгагена, куда будем заходить для получения механического имущества, рукой подать.

Обмысливаю эту давнюю драму в тысячный раз и вдруг ловлю себя на том, что забыл фамилию капитана танкера. Спрашиваю В. В.:

– Аварию «Фридриха Энгельса» помните?

– Конечно. Я на «Андижане» был. Мы на «Энгельс» Вениамина Исаича Факторовича везли. Он здесь потом спасательные работы возглавлял. А чего вы?

– Фамилию несчастного капитана забыл.

– Вотяков. Я его труп своими руками в бочки из-под бензина укладывал. Сварили две бочки и туда засунули. И в Ленинград отвезли. Но самое сложное оказалось вытащить тело из воды. Воскресенье как раз было. Вокруг сотня шведских да датских яхточек и моторок шастает. Интересно же на аварийное судно поглазеть. Людишек хлебом не корми, дай на чужое горе полюбоваться. Тем более советский пароход на мели сидит – кремлевские тайны. Жарят из фотоаппаратов со всех сторон. Невозможно же на их глазах утопленника вытаскивать. И так во всех европейских газетах фотографии танкера и подписи аршинными буквами: «ВОЖДЬ МИРОВОГО ПРОЛЕТАРИАТА НА МЕЛИ». Убытки-то, в общем, сравнительно незначительные, времена уже помягчели – ну разжаловали бы его, дали пару лет условно. Никак не могут наши начальники понять, что без особой нужды не следует называть суда именами великих людей. Ведь какая добавочная психическая нагрузка, когда у тебя под ногами «Сталин» или «Молотов»!

– А в чем корень-то драмы?

– Ну, посчитал неправильно прилив с высотой в два метра на полной воде, какой-то про черк в таблице за ноль глубин принял... И лоцмана для прохода Флинт не взял. Лоцпроводка здесь не обязательна, но он-то первый раз шел. Любой из лоцманов отказался бы вести судно с осадкой девять метров через семиметровые глубины.

– Я не про это, Василий Васильевич. Я про психологию. Почему до самого подхода к Дрогену он прятал в каюте лоции и карты от штурманов? Ясно же, что сумасшедший. И Шацкий с «Голиафа» так считал.

– Нет. Какой он сумасшедший? У меня при плавании во льдах есть главный принцип: «Уперся – разберемся». А он еще молод был слишком. Уперся, а времени в себе разобраться уже не было... Вы поэта Поженяна знаете?

– Знаю.

– У него есть стихотворение. «Не правы всегда капитаны, всегда виноват капитан». Давайте сменим материю. Хотите, про чижа расскажу? Был у меня чиж необыкновенной верности и ума. А вообще-то они глупые...

Я вернул В. В. к Вотякову, к моей уверенности в том, что тот был сумасшедшим. В послевоенные времена аварийные капитаны получали обычно на всю катушку, или вышку, или пятнадцать лет, потому что всем одинаково шили злостное вредительство, но ни одного случая самоубийства среди спасенных капитанов я не знаю.

Тогда В. В., которому про аварии в тот момент явно говорить не хотелось, свершил свой китовый вдох-выдох и рассказал, как в конце сороковых, матросом, влип в переделку на пароходе «Козлов» в Индийском океане. Пароход был грузовой, в трюмах оборудовали нары и везли во Владивосток сто человек курсантов мореходной школы – сэкономили на железнодорожных билетах. И вылетели на риф. Несколько пробоин. Капитан сразу как-то скис. Под командованием старпома успешно заделывали дырки, начали откачку, сползли с камней, повеселили. Пока люди работали, капитан пошел в корму, разделся, сложил одежду на кнехте, сверху фуражку – и утонул. А риф-то на карте отмечен не был, и вина его была маленькая, если вообще была.

Дальше вода вдруг пошла сквозь уголь – из угольного бункера в котельное отделение, а котлы огнетрубные. Покинули пароход. Вельботы и плотики перегружены; хорошо, штиль был мертвый. Подскочил «Смольный», никто из мальчишек-курсантов не погиб. «Смольный» довольно долго дожидался, пока «Козлов» взорвется и окончательно утонет. Тогда погудели оставшемуся там капитану и ушли.

В. В. рассказал это безмятежно – пережитое давно превратилось в забытое кино. А когда вдруг вспомнил деталь: помпы и генераторы умудрились работать в затопленном помещении, то обрадовался этой детали – как старого друга встретил.

– А про Вотякова вот что еще скажу... Митрофан Митрофанович, паром видите?

– Да. Как только от причала начали мачты двигаться, так и засек, Василий Васильевич...

– Вы на маневренном уже?

– Да. Машину предупредили час назад.

– Ну и хорошо. Давайте средний. Чего-то лоцбот запаздывает. Так вот, Виктор Викторович, был у меня щёгл, который точно знал, когда ему надо будет помереть. Нашел птенца в саду на даче, когда дочке было еще пять лет. Гуляли с ней, и собака маму щегленка спугнула с гнезда. Я птенца взял, выкормил, я умею с ними. Звал его просто Щёгл. Десять лет живет и в ус не дует. Потом в мое отсутствие отравился коноплей. Ее надо кипятком ошпаривать, чтобы нежелательную ядовитость уничтожить. Ослеп Щёгл. Что со слепой птицей делать? Понес я его в поликлинику водников, к окулистке, которая на каждой медкомиссии мне тонну крови портит, знаете ее, наверное, евреечка с усами. Объяснил, что дружок старый у меня ослеп. Она внимательно отнеслась, без смешков. Консилиум собрали, но ничего придумать не смогли. Убивать надо или там усыплять. А он, Щёгл, поет себе и поет – это слепой! Никаких переживаний, только еще больше меня начал к собаке ревновать. Чуть ее поглажу, Щёгл носом по прутьям клетки взад-вперед – трата-та! Думал я, думал: что со слепой птицей делать? А пусть живет, если ей так хочется. Пел чудесно. Каждую ноту – в сердце. Все сроки прошли, а он живет. Дочка подросла и замуж собралась. И за три дня до свадьбы дочери Щёгл умер. Всего прожил пятнадцать лет, восемь месяцев и шестнадцать суток. Дочка, надо сказать, как-то смущалась перед женихом, что папа все еще в мальчишестве пребывает, голубей гоняет и слепого щегла нянчит. И вот Щёгл убрался в самое время. Похоронил я его в банке из-под английского чая. Знаете, такие красивые банки – индианки в ярких нарядах танцуют... Ссыпал я в банку песочек из клетки, корм, который остался. Положил слепого певца в поильничек, – он к старости усох, маленький стал – точь-в-точь как добрые старички усыхают. Ну, и закопал в саду. Теперь к нему на могилку внучку вожу и мы там с ней песни поем. Я внучку больше дочки люблю. Так вышло. Митрофан Митрофанович, лоцбот видите? Тогда давайте малый, а я спущусь форму облачу. Поглядите тут, Виктор Викторович, пообвыкайте.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.